

СИБИРСКИЙ
РОМАН



В.
Воскресшее
племя

В. Тан-Богораз

Владимир Германович Тан-Богораз

Воскресшее племя

Серия «Сибирский роман»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=53308819

Воскресшее племя / Тан-Богораз В. Г.: ТД Ленинград; Санкт-Петербург;

2013

ISBN 978-5-516-00042-3

Аннотация

Роман «Воскресшее племя» посвящен Чукотке, раздумьям о ее прошлом и настоящем. За двадцать лет после Октябрьской революции народы севера Сибири и Чукотки сумели пережить то, на что другим понадобились чуть ли не тысячелетия. В романе показано возрождение к жизни коренных обитателей Чукотки – забитого, разоренного, полуистребленного племени юкагиров, обреченных в условиях царской России на вымирание. Написанная одним из зачинателей изучения истории, этнографии, культуры и быта народов Севера, книга изобилует натуралистическими деталями и правдиво показывает образ жизни и психологию маленького северного народа.

Содержание

Вместо предисловия	4
Глава первая	10
Глава вторая	23
Глава третья	33
Глава четвертая	40
Глава пятая	52
Глава шестая	64
Глава седьмая	73
Глава восьмая	88
Глава девятая	101
Конец ознакомительного фрагмента.	104

Владимир Тан-Богораз

Воскресшее племя

Вместо предисловия

Темой этого романа является возрождение после революции самого несчастного из северных племен, забитого, разоренного, полуистребленного народа юкагиров. В прошлом, до прихода русских, юкагиры, вместе с родственными им чуванцами и другими, более мелкими племенами занимали обширное пространство между двух океанов: Полярного и Тихого, от реки Лены до реки Анадыря. Они примыкали непосредственно к чукотско-коряцкой группе народностей, живших еще дальше и занимавших весь крайний северо-восточный треугольник обширного материка Евразии.

По древним сказаниям, шатры и огнища юкагиров были расположены так часто, что Ворон Громник, пролетающий над тундрой, совершенно почернел от дыма и копоти и должен был бессильно опуститься на землю, не пролетев даже и половины пути. Ныне от юкагиров осталось несколько сот человек, а чуванцы совершенно исчезли.

Чуванцы называли себя атал, а юкагиры – одул. Это, очевидно, одно и то же слово, оно означает – «человек». Многие первобытные народности сами себя называли «людьми» или

«настоящими людьми», а соседей своих – «врагами», «мерз-лоязыкими», «немыми» и даже еще прямее и грубее: «чер-тями».

Страдания и бедствия юкагиров не являются исключением, они типичны для всех малых народностей Севера.

Я писал об юкагирах по личным впечатлениям. Однако для того, чтобы быть более свободным в своем рассказе, я несколько переделал их племенное имя и вместо одулов и аталов назвал их «одулами» и «атанами». История одунов – это не только история юкагиров, это – история кетюв, долганов, эвенов и эвенков и десятка других северных народностей, над угнетением которых работали вместе казаки, исправники, торговцы и попы.

Русские завоеватели северной Сибири были во многом подобны испанским конкистадорам, покорившим Америку. То были люди, не щадившие ничьей жизни, ни чужой, ни своей. В какие-нибудь восемнадцать лет они покорили весь необъятный край от Лены до колымского устья и дальше, до Охотского моря. В 1632 году Петр Бекетов основал на реке Лене Якутский Острог. В 1646 году Михаил Стадухин открыл реку Колыму и заложил на ее западном устье Собачий Острог. В 1649 году Семен Дежнев заложил Анадырский Острог, а в 1650 году Семен Мотора уже дошел до Охотского моря. Казенные акты того времени, казачьи подлинные отписки якутским воеводам пестрят такими указаниями: «И мы, яз Семейка с товарищи, на них ходили и нашли иск че-

тырнадцать юрт, в крепком острожке, и бог нам помог, тех людей разгромил всех и жен и детей у них поймали, а сами они ушли».

Или еще: «И стали они, анаули, с нами драться и как нам бог помог взять первую крайнюю юрту и на острожок вошли, и мы с ними бились на острожке ручным боем, друг за друга имаяся руками, и у них, анаулей, на острожке направлено на готовый бой колье, и топоры сажены на долгие деревья, и убили они у нас служилого человека Суханка Прокотьева да трех человек промышленных; да служилого человека Пашка Кокоулина на том приступе топором и кольем поранили в голову и в руку, да Артюшку Солдатка ранили из лука в лоб. И бог нам помог тот их острожек взять и смирить их ратным боем».

По другим донесениям, пленники, не желая покориться под высокую государеву руку, поганским обычаем, жен и детей своих кололи до смерти, а сами бросались с утеса и тоже убивались».

Вместе с казаками, а порою впереди их, шли торговцы, часто довольно крупные, тесно связанные со столичной Москвой.

Таковы, например: «Гостиной сотни торгового человека Василия Гусленикова, приказчиков его Бессонка Астафьева, Афоньки Андреева, их покрученник Ефимка Меркурьев Мезеня с товарищи». Здесь, правда, торговые люди третьего разбора, «по-крученники приказчиков» богатого купца. Но

Федот Алексеев, обогнувший вместе со знаменитым Семёном Дежневым в 1648 году крайнюю оконечность азиатского материка и, таким образом, попавший из одного океана в другой, сам был богатый торговец и суда снарядил на собственные средства.

Верными союзниками казаков и торговцев были попы, белые и черные (то есть монахи). Они тоже ходили с отрядами и собирали силой ясак для царя.

Так, в 1814 году священник Григорий Слепцов сделал объезд по Чаунской тундре и собрал ясак с семидесяти чукотских семей. Он привез в Колыму восемьдесят семь пудов моржовой кости и множество мехов и все это передал в казну. По местному преданию, лучшую часть сбора он оставил себе. Чауйские чукчи нападали на него по дороге, но он отбился.

Последним завоеванным народом были злосчастные юкагиры. Чукчи, обитавшие за ними, сумели отбиться, нанесли казацким отрядам ряд поражений и заставили их отступить обратно к западу. После того чукчи набросились, в свою очередь, на чуванские и юкагирские поселки, грабили имущество, отбирали олени стада, мужчин убивали, а женщин и детей уводили в плен.

Таким образом, чувано-юкагары очутились между молотом и наковальней и жестоко пострадали.

В советскую эпоху разорение и угнетение северных народностей сменилось их культурнополитическим и хозяйствен-

ным возрождением. Значительную роль в этой прекрасной работе играла северная молодежь, и лучшая часть молодежи прошла и проходит через Институт народов Севера, возникший в Ленинграде в 1925 году.

Я работал в этом институте с его основания, когда он еще представлял только отделение рабфака при Ленинградском университете, и все время внимательно следил за его ростом и укреплением. Таких учреждений нет нигде за пределами СССР. Капиталистические страны поступают со своими народами Севера по одному и тому же неизменному империалистическому рецепту – выкачивают из них все соки, стараются их обезличить, стереть их народность, угасить язык и внушить этим пасынкам культуры рабское признание того, что они якобы являются людьми второго сорта, прислужниками завоевателей, пришедших с юга с «огненным боем», сифилисом и алкоголем.

Грандиозное значение советской работы среди малых народностей Севера признано за границей. Об этом говорилось на многих ученых конгрессах в Европе и в Америке.

Последние главы моей повести еще не исполнились, но они исполнятся в ближайшем будущем. То, что еще не осуществилось в далеком юкагирском районе, стало уже действительностью, вошло в плоть и кровь в более западных ненецких и эвенкийских округах. Темп возрождения Севера быстро растет. Злое «вчера» уже переросло в могучее «сегодня», и это «сегодня» на наших глазах переходит в яркое

«завтра».

«Завтра» для одунов – это широкий, развернутый фронт по пути индустриализации, научного знания, социализма.

Глава первая

– Подь, подь!.. Подь, подь!..

Кендык покрикивал, погоняя свою старую мохнатую собаку, покрикивал негромко, без всякого азарта. Не стоит разоряться из-за единственной собаки.

Старая Щетка, тянувшая изо всех сил, с упреком оглянулась на хозяина.

«Ты видишь, я стараюсь, – прочитал Кендык в ее взгляде, – куда же ты гонишь еще?..»

И вместо ответа Кендык влег плечом в ременную ляжку, при помощи которой он тянул свою узкую нарту по снежным ухабам.

На нарте лежало спасение северной жизни – еда, правда, не особенно казистая, разного качества. Десяток зайцев, полтора десятка куропаток, несколько довольно крупных рыб и даже кусок волчеедины, на которую Кендык и Щетка набрали нечаянно в лесу, во время своего путешествия. Волк убежал, а волчеедина осталась.

Эта еда должна была поддержать на неделю десятую часть несчастного, заброшенного, полуумирающего племени одунов.

Зайца одуны когда-то не ели. Даже самый их род назывался Заячьим родом – Чолгород Омок. Одуны считали Великого Зайца своим покровителем и предком, дарителем пищи

и про зайца рассказывали множество басен и легенд. Но теперь все это забылось и спуталось. Погибающим одунам было совсем не до этих запретов. И если не Великие Зайцы, то простые лесные зайчишки давали племени необходимую пищу своей собственной плотью и кровью.

От одунов осталась последняя сборная сотня: сорок мужчин, сорок семь женщин и одиннадцать детей. У племени – двадцать собак, большею частью старых и усталых, а молоденьких щенят – тоже одиннадцать; по щенку на ребенка. Детей и щенят кормили из одного корыта, когда было чем кормить.

Настоящих охотников у племени было тоже одиннадцать, и они разделили сородичей на одиннадцать родственных групп, или сложных семей, по восемь, по девять и по десять человек, и каждый охотник старался кормить свою собственную группу. Настоящих, взрослых охотников было только десять, а одиннадцатым был этот самый мальчишка – Кендык, который из сил выбивался с грузом добычи на снежной таежной дороге. Кендык был внук шамана Чобтагира. Он был по годам мальчишка – ему исполнилось только четырнадцать лет, – но по упрямой, настойчивой страсти к охоте он был промышленником, одним из одиннадцати.

– Кух, кух, кух! – закаркал по-вороньему, с удивительным искусством, охотник-подросток, подавая этим своей единственной собаке знак, что сворачивать нужно налево, туда, где змеился узкой тропинкой крутой и высокий подъем.

Щетка выпустила дух, как будто вздохнула, и начала царапаться вверх по подъему своими цепкими лапами. Работа эта была тяжелая. Собака стлалась по тропинке, визжа, хватая пастью снег, чтобы утолить свою нестерпимую жажду, и Кендык, как полагается каюру-ямщику, на трудных местах плаксивым голоском поощрял свою старую собаку: «Ох, тяни, тяни, ох, давай, давай! Еще раз, еще раз. Домой, ужинать будем». В семье Кендыка Щетка была последняя живая собака. Две других издохли, третью задрал не особенно давно на охоте медведь, четвертую убили и съели на празднике осенью, и осталась одна-единственная, и при ней также единственный щеночек.

Стемнело. Товарищи всползли наконец на угор и поехали вдоль по узкому высокому гребню. На третьем повороте открылся одунский поселок. Постройки поселка тоже были сборные, пестрого типа. Старые плетеные одунские шалаши, обложенные глиной и дерном, якутские разлапистые юрты, обмазанные глиной и навозом, и даже квадратные избы, рубленные в лапу, по русскому примеру. Но ни одна изба не имела сеней перед входом и кровли на два оката. В сущности, это были не дома, а скорее сараи, переделанные для жилья. Все они имели в левом углу, у стены, русско-якутского семейственного бога. То был широкий «чувал», тоже из дерева и глины, построенный вроде камина и дававший лучистое тепло в самые лютые морозы. Домов было двадцать, и повсюду топились обильным и щедрым огнем чувалы. В лесу бы-

ло тихо, и над каждой плоскою крышей вставал неподвижно развихренный, высокий, пронизанный искрами столб вроде гигантской метелки, с курчавой и дымной верхушкой.

Кендык облегченно вздохнул. Еды было мало, но ее заменяло изобильное тепло и ленивый, разымчивый сон. Одуны знали и блюли мировую пословицу: «голодному сон за обед».

Жидко завизжали впереди голодные собаки, и все население поселка высыпало наружу из-под шкур, повешенных вместо дверей. Среди этих немногих десятков последних одунов поражало обилие людей пожилых и даже стариков. Дети постоянно вымирали, а старики и старухи, составлявшие бремя тяжелое, почти бесполезное, продолжали жить по какому-то необъяснимому противоречию. Впрочем, детей рождалось мало. Брачная жизнь ослабела. Воля к воспроизведению, теплившаяся слабой искрой, зимой совсем замирала, а вспыхивала только весной временным и жидким огоньком. Последним жизненным инстинктом был голод, стремление насытить свое собственное брюхо и защитить от смерти свою собственную личную жизнь, без мысли о детях, о племени. Но чаще всего даже влечение к еде не вспыхивало ярким звериным огнем.

Мужчины и женщины, с изношенными лицами, в изношенных одеждах из полуоблысевших шкур, постояли перед входом и тотчас убрались обратно. Еда предназначалась для третьего дома налево. Ее было немного, и устраивать общий дележ было не из чего.

Старый Чобтагир вышел навстречу охотнику.

Он был высокий, тощий, но все еще держался прямо, несмотря на глубокую старость. Его щеки и шея были в широких складках, как будто копченая коричневая замша. По замше повсюду, особенно на подбородке, пробивались длинные волосы, жесткие, прямые и седые. Одуны вообще бороды не имеют и отдельные волоски выщипывают особенными медными щипчиками, которые носят на трубке. Но у самых глубоких стариков вырастает бородка, она считается особым украшением, и ее не выщипывают.

У Чобтагира на поясе висело соколиное крыло, а на левом плече была пришита деревянная фигурка – собака или волк. То были его духи-покровители.

Не поздоровавшись с внуком, он подошел к нарте и ощупал волчеедину и зайцев. Добыча молодого охотника ему не особенно понравилась.

– Для еды годится, для продажи не годится, – оказал он презрительно.

Действительно, Кендык не добыл ни одной ценной шкурки – ни белки, ни лисицы, ни соболя, ни горностая. Если бы приехали купцы, им нечего было бы дать в обмен на чужие товары.

Подошел и другой старик, похожий лицом на Чобтагира, но ростом пониже и без всяких амулетов.

– Кому продавать-то? – сказал он презрительно и горько. – Перевелись торговцы, сами не ездят, других не пускают. Ес-

ли бы попалась пушнинка, отдать-то некому, купить-то нечего.

Слова эти были как бы ответом на упреки Чобтагира.

Старик без амулетов был двоюродным братом Чобтагира.

У Чобтагира имя было чужое – тунгусское, но брат его звался по-одунски Шоромох – «человек». Этот туземный человек был в прошлом помощником якутских торговцев. Он брал у них по мелочи товар, раздавал односельчанам, сородичам и также по мелочи собирал пушнину. Каждая иголка и каждый листок табаку имели свою цену. Когда-то, при дедах Шоромоха, за иголку давали пышную темную белку, но после – только беличий черненький хвостик. Из беличьих хвостов искусные старухи-шитницы сшивали ошейники, пушистые и черные, теплее, чем русские шарфы, вязанные из шерсти.

Шоромох, бывало, работал не только среди Заячьих потомков, но шнырял по окрестностям, переходя от одного полувимершего рода к другому. Бывал у Гусиного рода, у второго полурода Щербаковых.

Первый полурод давно вымер, поголовно подкошенный корью. В Петербурге и в Москве, для притерпевшихся горожан, корь – это детская болезнь, но, раз попав на тундру, она становится злым бичом вроде чумы или оспы.

От торговых операций Шоромох особенно не богател. Ему перепадал лишний чаек, табачок, даже порой спиртик, но чаек он выпивал, табачок выкуривал, а спиртик... даже

и сейчас при мысли о спиртике глаза его зажигались мечтательным восторгом, и он прошептал русскую пословицу в одунской переделке: «Сыт и пьян, и глотка копченая (от табачного дыма), и глаза подбитые». Последняя деталь относилась к дракам, которые у пьяных одунов затевались не хуже, чем у пьяных русских. Но теперь не было, увы, ни пьянства, ни курения, и якутские благодетели давно уж не являлись в глухую одунскую тайгу.

Старая Курынь, жена шамана Чобтагира, настрогала мороженой рыбы и поставила на стол. Зайцев, гремевших, как жестяные, положила оттаивать в широкую корзину вблизи камина. Над волчеединой стояла в сомнении. Можно ли есть, не обидится ли тот волк, у которого ее отняли, и не станет ли мстить? Но потом она отрубила половину маленьким кухонным топориком, разрубила на куски, положила в котел и поставила вариться к огню. Мужчины в молчании ели сырую мороженую рыбу. Она была безвкусная, сухая, без всякого жира. Зимняя рыба мало годится для поедания сырым. Котел закипал, волчеедина, в отличие от рыбы, была жирная. «Волки умеют выбирать добычу», – подумала Курынь с невольным почтением.

Кендыкова сестренка Чолгора (Зайчиха) затеяла игру с морожеными зайцами. Может быть, она чувствовала к ним влечение из-за своего собственного имени. Вместе с нею играли две другие девчонки, подруги, пришедшие из соседних домов. Сегодня в поселке был день худого промысла, и

взрослые охотники принесли меньше добычи, чем молоденький Кендык. Однако Чобтагир и Шоромох не делили еду по сородичам, как водилось по правилу раньше, а ели одиноко в своей угрюмой жадности то, что послал им охотничий бог – покровитель молодого охотника. Только маленькие дети разрушали стену отчуждения и ходили выпрашивать кусок туда, где он был побольше и пожирнее. Оттого и пришли в чобтагирскую избу к «маленькой зайчихе» две другие девочки. Они отобрали самого крупного зайца, разделились на две партии и стали играть в «ворона». Две девочки легли на зайца грудью и обхватили его руками. Они были мыши, нашедшие заячью тушу в лесу под кустами, и прятали свою драгоценную добычу. Чолгора – хозяйка – разыгрывала Ворона. «Дочки, дочки, что вы делаете?» – спрашивал Ворон. «На солнце греемся, на песке сушимся». – «А что вы нашли на песке? Зайчика, должно быть?» – Нет, нет, это не зайчик, а кустик». – «А зачем у него глазки?» – «Это кустик глазастый». – «А зачем у него усики?» – «Ах, это кустик усатый». – «А зачем у него лапки?» – «Это кустик лапчатый». – «Ах вы, певуны, вертуны, вот я вас, вот я вас!»

Ворон мышей разбросал и зайчика унес, но старая Курынь вырвала зайца у Ворона и самого Ворона ударила звонко по лбу черной деревянной поварешкой.

– С зайчиками не шутите, – сказала Моталья, другая сестренка Кендыка. – Зайцы не сами собой пришли, они родились из оленей на бегу, в состязании. Бежали, бежали, бо-

ка и рога потеряли. Уши стали больше, лапки стали мягче, рост уменьшился, стали меньше лисиц, тогда стали кормиться тальничными ветками.

Это было предание вымирающего племени. Его прародители, зайцы, были когда-то оленями, а племя потом потеряло оленей, убавилось ростом и стало вместо мяса питаться тальничными ветками, не лучше и самих зайцев.

Горячее мясо стояло в корыте на низком столе. Девчонки хватали куски, позабывши о зайчике. Но старый Чобтагир ел мало.

– Пить хочу, – сказал он отрывисто.

Старуха наливала из черного чайника горячий брусничник, то есть, в сущности, просто крутой кипяток, в котором заварены брусничные листья. Но сколько ни клади брусничного листа, навар выходит какой-то сомнительный, прозрачный и зеленый. А от кирпичного чая, какой пили недавно одуны, навар получался черный и густой, как пиво.

Чобтагир равнодушно выпил чашку, поставил ее на стол и с тяжелым вздохом достал свою длинную черную трубку. Курить было нечего. Кисеты давно искрошили и выкурили. Старые трубки истерли в порошок. Все давным-давно перешло в дым. Он неохотно взял ивовую ветку, очистил от коры, наскреб древесины, набил ее в трубку и поджег угольком. Потом затянулся быстро и жадно, пять, десять раз подряд, как это делают курильщики на Севере. Дым был удушливый, едкий. Чобтагир поперхнулся и закашлялся, потом с отвра-

щением бросил в сторону трубку. Ничто его не тешило. В неприступном молчании ушел он в свой кожаный полог, растянулся на шкурах и принял вид спящего. Другие расправились с едой, старуха загребла огонь, чтобы он сохранился до завтра, и все стали укладываться прямо на полу, расстилая поношенные шкуры. Усталый охотник давно утопал в меховом балахоне Нерги, пушистой и снежной полночи, которая приносит такой пушистый сон и людям, и вещам. Кого Нерга захочет усыпить, – закинет полою плаща, и тогда он спит спокойно и мягко, как ребенок.

В глубокую полночь Чобтагир тихонько поднялся. Он не спал ни минуты и молча пролежал, глядя в темноту своих закрытых глаз, своей замкнутой наглухо души. Но теперь он насытился своим одиночеством, его тянуло разговаривать с духами. Он не стал по-обычному шаманить в жилом помещении, а вышел осторожно на улицу. Взял с собой свой старый любимый бубен, большой, неуклюжий, с железной крестовиной на брюхе, заменявшей рукоять. Заодно прихватил три головатых деревянных фигурки, – то были его собственные амулеты и духи-покровители. Унес и малую икону Старого Николки – так фамильярно обзывают на Севере Николая-чудотворца. Обойдя свою избу, он стал у задней стены. Потом разложил на снегу вокруг иконы своих деревянных предков и крепко связал их вместе шнурком, ссученным из оленьих сухожилий, – чтобы они не разбежались. Духи – как дикие звери. Если не привязать их, они убегают. Старик до-

стал из мешочка кусочек красной охры и развел ее слюной. Это была как бы жертвенная кровь убитого оленя, о котором в доме Чобтагира не было даже и помина. Разведенной охрой он обильно намазал деревянные губы своим собственным духам-помощникам и Старому Николке.

– Ешьте, – буркнул он, – ешьте хорошенько и нам тоже есть давайте.

После того он стал жаловаться на плохую торговлю и плохие промыслы.

– Слушай, Николка, – говорил он вразумительно и прямо. – Дай чаю, пить хочу, дай табаку, курить хочу. Дай крепкого вина, сердце веселить хочу. Я вас кормил – и вы меня кормите. И вы, головатые, – окликнул он своих деревянных божков, – тоже помогайте Николке и дайте, чего просим.

Чобтагир помолчал и прислушался. Сквозь сердце его прошла, как нож, буйная жажда пляски, шаманского вопля и яростного стука по натянутой коже бубна. Он удержался. Эту шаманскую молитву не должны были слышать другие мужчины жилья: Кендык и Шоромох.

– Дайте, – убеждал духов Чобтагир, – я стар и немощен. Мои губы привыкли к радостям, пришедшим от русских. Пьют вино, курят табак, пьют чай с сахаром.

Он опять подождал и прислушался, но ничего не услышал. Духи не давали ничего.

Тогда в безумной ярости он стал бранить и поносить главного русско-одунского бога – Николу-чудотворца.

– Злой старичишка, – сказал он ему. – Сам, небось, куришь и пьешь, или, может быть, ты только хвастаешься, и к вам на небеса тоже ничего не доходит. Страшные солдаты и у вас облегли все дороги, не пропускают никакой мучнистой пушинки, ни чайной порошинки, ни горечи табачной.

Наступило короткое молчание.

– Ты, может, спишь, Николка, – сказал неожиданно шаман. – Не спи, друг, помоги. Случай придет, я тебя тоже накормлю и накурю.

Николка действительно спал. Чуть слышно долетало из избы тонкое храпение с присвистом и причмокиванием. Трудно было решить, кто это собственно храпит: старый Шоромох или Старый Николка.

С тяжелым вздохом шаман продолжал свое действие.

– Ты, может, не понимаешь по-нашему? – спросил он Николу. – Русский, что делать, – ты понимаешь по-русски, а мы – только по-одунски. Вот я позову переводчика... Приди, толмач, – прошептал он настойчиво. – Работай со мною, как Кешка-переводчик¹ работал со старым исправником.

«Хорошо, хорошо, хорошо, – запело в ушах шамана. Это пел дух-переводчик тонким комариным голоском. – Мне все равно, я растолкую, скажу...»

Как все шаманы, Чобтагир разыгрывал свое «служение», как настоящий многоликий актер. Он сам говорил за себя и также за духов, порой мысленно, порой на все голоса, гром-

¹ Кешка – Иннокентий.

ко, вслух. При случае он умел даже чревовещать не хуже любого городского фокусника. Это требовало большого напряжения, и он делал это исключительно для публики. Сам для себя он разговаривал с духами чаще всего мысленно.

Еще через несколько минут у шамана в ушах прозвучало объяснение: «Даром Николка не дает, и остроголовые тоже не дают. Торгуй с ними, ты ведь даром ничего не давал, и Шоромох ничего не давал, а у нас, небось, просите. Привык собирать дорогое, – упрекал переводчик шамана. – С нами поделись, с небесными, мы не хуже земных. Пушкинину-то привык собирать, пушнину отдай... Нет, не надо пушнины, ее ныне не берут. Дай молодого оленя, сладкое мясо, теплую кровь».

Чобтагир тихонько завыл и закружился на месте, уже не только мысленно, но и на деле. Он вертелся быстро, как волчок, спущенный с рогатки на твердую гладкую землю.

Никола хотел торговать, но у Чобтагира не было товара для продажи. Заячий род был не олений, а собачий. Только у второго полурода Щербаковых водились когда-то олени, но их давно приели и волки, и люди, и духи копытной заразы. Последний Щербаков умер много лет назад, когда у Чобтагира на темном лице волосы были не седые, а черные. Последние олени потерялись незадолго до смерти последнего оленного одуна. Все было последнее: и олени, и люди, и пища, и русские товары, и самое дыхание жизни.

Глава вторая

Перестали возить мясо. Уже десятый день охотники, старые и молодые, возвращались домой с пустыми нартами. Зайцы куда-то исчезли, – как видно, откочевали на другой берег реки Шодымы. Должно быть, заречный хозяин, живущий в лесу, который постоянно соревнуется со здешним, бьется об заклад, борется, а чаще всего играет с ним в карты, – на этот раз изловчился и выиграл охотничью добычу. Лешие ставят на кон всякое зверье: зайцев – так зайцев, белок – так белок, лисиц, горностаев, даже куропаток. Оттого и бывает, что один год куропатки в огромном обилии, а потом, как отрежет ножом, – все до одной потерялись. Это счастливый игрок уводит их с собой, в свои заповедные места. У такого счастливого лешего хорошо жить одунам. У него зайцев вдвое, и всякой пушнины вдвое. А у неудачливого лешего одуны голодные.

Также не стало и рыбы. Зима в этом году была суровая, лед толстый, и на реке было мало продухов. К таким продухам в лютый мороз собирается рыба, чтобы глотнуть свежего воздуха. Но на этот раз вышло иначе. Двое охотников, самых проворных, Пулей и Юкупай, сходяв на далекую (продуху, нашли ее полную рыбы, но вся рыба лежала вверх брюхом. Она задохлась от густого застойного духа. Охотники не посмели взять этой рыбеёй падали и вернулись домой с пу-

стыми руками. В эту ночь в поселке разговаривали шепотом. Дохлая рыба в реке, по словам стариков, всегда предвещала несчастье.

Тогда пошли пробовать счастье двое других: Пеме и Шахал. Они стали на тонкие лыжи, взяли свои посохи и пошли далеко «наперерез земли», по снежным угорьям, искать толсторогого лося. Последние лоси водились в южной стороне, на речке Тополевой. Там, в затишье, прятались лоси, сохатые, «старшие братья оленей», объедали тополевую и осиновую кору и одинаково спасались от волков и от людей. Два дня, две ночи скользили на лыжах смелые охотники Пеме и Шахал. Прошли всю Тополевую речку до узкой ветвистой многокаменной верхушки, а лосей не было. В двух местах попались глубокие раздвоенные ямки в осеннем снегу. То были следы лосиные. Они были старые, твердые, обмерзлые. Нужно было бы долго колдовать, произносить заклинания, чтобы вернуть лосей назад и сделать их следы из старых свежими, из жестких – мягкими. Дальше следовало подняться еще раз назад, вверх по реке Времени, и сделать бывших лосей сущими, годною добычей для охоты. Шаманы внушали одунам, что при большом напряжении сил можно заставить реку текущей воды и реку текущего времени вернуться назад. Но Пеме и Шахал, очевидно, не умели, как надо, колдовать. Они походили у старых следов в опустевшем лесу и вернулись обратно.

В ту ночь Чобтагир устроил в избе небольшое «камла-

ние»², и не знавшие удачи охотники забрались к нему в избу и долго слушали взвизгивание шамана и грохот его бубна. И даже сами подвывали и подкрикивали, как это полагается. Шаман скажет: «Духи, придите на голос». И охотники поддержат: «Ну да, придите скорей». Шаман скажет: «Ух, улетаю на поиск». И охотники поддержат: «Ну да, конечно, улетаешь». На этот раз камлание шло с необычайной вялостью, и охотники вдруг остановились, не окончив возгласа, и тихонько спросили Чобтагира:

– Скажи, отец, зачем ушли сохатые от наших далеких угодий на реке Тополевой? Мы обошли все следы, они уводят через средний хребет, на Березовую реку.

Шаман долго молчал и думал. И все гости его также молчали, затаив дыхание. Потом он сказал:

– Последние лоси ушли – предвестье голодного времени. Земля наша устала кормить умирающих одунов, она требует отдыха, заказа³, перерыва. Уходите, одуны, пока еще не поздно.

Тогда двое последних охотников, одновременно и старых, и удалых, пошли искать удачливого промысла, прямо вверх по реке Шодыме. Они шли четыре дня и четыре ночи и пришли на осетровую заводь, где в тинистой глубокой курье зимовали осетры. Они прорубили тяжелой пешней двухаршин-

² Камлание – шаманское служение.

³ Заказ – запрещение. Отсюда охотничий заказник – район, запрещенный для охоты.

ный лед и длинными шестами-норилами протолкали под лед крепкую сетку, сплетенную из белого конского волоса. Сетку продержали до вечера и взяли на первом же высмотре большого осетра, одного, зато пудового.

Осетр был странный – с очень большой головой и такими же большими глазами. Дорожного запаса у охотников не было, они сварили в котелке осетровую голову и поели янтарной ухи. Но, поев, ощутили, что дух смерти сидел в осетре и забрался к ним в печень. Они в ужасе бросили на берегу котелок и обезглавленного осетра и побежали домой со смертью в животе. И так же, как прежде, бежали четыре дня и четыре ночи, прибежали и пали в избе у шамана Чобтагира и сказали через силу:

– Старик водяной нас убил, осетром удавил.

Сказали и умерли.

Тогда поняли и увидали одуны Чолгорского рода, что на них прогневались духи лесные и духи водяные, отняли у них пищу или в пище посылают смерть.

На следующее утро мужчины остались в поселке, а женщины отправились на промысел. Они нацепили кумачовые лоскутья на старую замшу кафтанов, надели свои праздничные шапки. Шли и голосили: «Лесные дружки, пожалейте. Пошлите еды».

Две сестры, Лошия и Кия, плясали. Волосы у Лошии были высокие, пушистые, как облако. А у Кии волосы висели по плечам тонкими косичками, как беличьи хвостики. Одун-

ские парни когда-то называли ее «Пятихвостая белка». Взявшись за руки, сестры плясали и пели весенние песни. «Приди, дружок, накорми меня белой рыбкой. Я почешу твое левое ушко. Приди, дружок, накорми меня красною рыбкой. Я поищу у тебя в голове. Приди, дружок, накорми меня черною рыбкой. Уснешь у меня на руках». Но никто не вышел на зов и не накормил голодных женщин даже самую плохую черною рыбой: пятнистою щукой, темнокожим налимом, круглоротым чукачаном, который считается на Севере самой дешевой, невкусной чернорыбной пищей.

Старшие женщины, Торика и Магея, захватили копалки. Они шли копать корни и читали заклинания мышиноного гнезда: «Мышка, хвостик, дай корешок. А я тебе дам от листа черешок».

Мыши, полевые и лесные запасают на зиму белые и вкусные чищенные корешки. С осени женщины разыскивают мышинные гнезда и уносят находящиеся в них запасы. Но теперь был конец зимы, мыши доедали последние корешки и сами голодали в своих темных подземных убежищах.

Торика стала копать из-под мерзлой земли тонкохвостую макаршу. Корешочек был тонкий, как шнурочек, и оборвался посередине. Торика вытащила полхвостика; а копалку изломала без пользы. Магея работала удачливее и выкопала мышь. Она не стала ее убивать и забрала последнюю горсточку полуобъеденных, изгрызенных корней, все больше хвостики. Мышь отбежала по белому снегу, потом остановилась

и посмотрела на грабительницу. Она, должно быть, знала, что деться ей некуда. Людей заменят горностаи, и совы, и лисицы, и вороны. Для каждого хищника она сама может стать съедобным корнем.

– Шуш, – сказала Магея, махнув копалкой.

Мышь только вильнула хвостиком и словно вздохнула, потом побежала вперед, вывязывая на тропке затейливый узор своими тоненькими лапками.

Так старухи и девочки тоже вернулись из лесу домой без всякой добычи.

Туже подвязали животы. Детям сварили постельную шкуру, сбив с нее шерсть. Разваренную кожу порезали кусками. Была она липкая и вязкая, как разваренный клей. Сами мужчины и женщины легли не евши. Никто не спал.

Наутро Чобтагир и Шоромох вышли на поляну и стали колотить посохами в сухое и звонкое дерево, лежавшее на козлах. Звук разносился далеко. Он был отрывистый, унылый и грозный. Это был призывный сигнал к поголовному сходу всего одунского племени. Сход созывали только в экстренных случаях, и тогда в нем участвовали не только старики, но также молодые, – одинаково, женщины и мужчины, – и даже дети, которые могли ходить или ползать по снегу.

Вместо Чобтагира стала говорить старуха Курынъ. Весь век она молчала, делала все, что приказывал муж, ему отдавала последний кусок, а сама засыпала голодная. Но тут она нашла свой голос и стала говорить так:

– Вы, стрелки, ружейники и лучники, добычи не могли подстрелить. Вы, копейщики, мяса не могли подколоть. Вы, рыболовы, крючкодеры, не выдернули рыбки из бесплодной воды. Теперь судите, как жить будем, как есть будем. О племени думайте, себя не могли прокормить. Как детей питать будем – советуйте, что делать.

И мужчины молчали и думали. И старый Шоромох сказал:

– Не приходят купцы, сами пойдем и поищем. Куда они девались? Пойдемте в якуты. У богатых якутов коровье молоко, конское мясо. У богатых якутов довольно и масла, и кумыса...

– Ух-а! – простонали, проплакали голодные мальчишки. Их было семь человек, и в жизни своей они не едали, даже не видали конского мяса, только знали о нем по рассказам, похожим на старые басни.

– Чем купим? – угрюмо спросила Курынь, не смягчаясь и не уступая старикам.

Мужчины молчали. Чобтагир перекачивал во рту сухую оленью косточку, похожую на камешек. Она была обсосана давно, и больше высасывать было нечего.

– Слышишь, ребятишки как плачут и пищат, – заговорил снова Шоромох. – Повезем их к якутам, там много еды, жирной и сухой, хорошей и худой. Пусть поедят простокваши и попьют белого⁴.

В этом заботливом предложении скрывалась жестокая

⁴ Белое – молочные продукты, чаще всего простокваша.

действительность. В голодные годы одуны и эвены (ламуты) приходили к якутам, приводили ребятишек и отдавали их на пропитание якутским богачам. Дети становились рабами своих хозяев. За несколько глотков разбавленного «белого» их заставляли работать с утра и до позднего вечера, били кнутом, держали в грязи, как собак, перепродавали и, случалось, убивали. Никто не заботился о них, а обратная дорога на волю была навеки закрыта.

Мальчишки замолчали, они знали, – тоже по рассказам, – что жить у якутов нелегко; молоко у них сладкое, как сахар, а слезы горькие, как соль.

Опять наступило молчание, и Чобтагир выступил вперед и сказал, то самое сказал, что прошлую ночью объяснил ему дух-переводчик:

– Даром никто не дает. Николка не дает и наши, головчатые, тоже не дают. Просят молодого оленя, сладкое мясо и теплую кровь.

Курынь внезапно вспыхнула. Она стряхнула с себя рабское молчание многих годов, как истлевшую ветошку.

– Что врешь, старый черт, где возьмем тебе оленя?.. Лживые шаманы, мужчины, обманщики!

И женщины все повторили:

– Мужские шаманы – обманщики.

Чобтагир пошатнулся, словно его ударили в лицо.

– Свою кровь отдал бы, – сказал он глухо, – да жидкая, хуже воды, а мясо жиловатое, как осиновая кора.

И Шоромох подумал и сказал:

– Ежели нет четырехногого теленочка – надо дать двуногого.

– К детям подбираешься! – крикнула Курынь. – Зарежу тебя, как собаку!

Она схватила железную наемку, женский кроильный ножик, и хотела броситься на вероломного советчика. Но Шоромох не хотел отступать и не думал униматься.

– Духам не дадите, сами есть не будете, – сказал он с угрозою в голосе.

Женщины взвыли от злости и готовы были броситься в свалку, но тут поднялась самая древняя старуха Чолгорского рода, Эмеи. Уже много лет она никуда не ходила на промыслы, даже в летнее время рыбы не пластала и сидела на шкуре. И когда Курынь была молодой девкой, Эмеи была такая же сухая старуха. У нее даже не было имени – Эмеи означало просто «матушка».

Она поднялась, но устоять на ногах не могла и только пересела повыше, на высокий пенек. Сидя на пне, она медленно заговорила, будто вспоминая, неясным скрипучим голосом, как старая береза:

– Я помню, было такое на реке Омолоне, я ведь не здешняя, я с Омолона. Там жил полурод Балаганчиков, и не стало у них пищи, ни мяса, ни рыбы в реке, ни птицы на ветках, ни даже корешков под землю. И так голодали сто дней. И стал мозг сохнуть в костях и мысли мешаться в голове. И была

там старуха – хозяйка, и звали ее также Курынъ, ну вот как тебя, – кивнула она пальцем в сторону жены Чобтагира. – Сначала ходили на охоту, искали, ничего не нашли, а потом и искать перестали. Легли на хвое под шатрами и ждали себе смерти. Мужчины ждали молча, и женщины не плакали, и дети устали ныть и просить хоть кусочек. Только один пятилетний ребенок-мальчишка все не унимался и плакал и кричал: «Мама, есть».

Старуха закашлялась и схватилась за грудь. Рассказ оборвался, но картина минувшего голода встала, как живая, перед глазами голодных одунов.

Глава третья

Вот как это было на деле.

Десять дней не ели. Мужчины и женщины лежали на хвое под шатрами и ждали себе смерти. Дети устали просить, только один пятилетний ребенок хныкал и просил:

– Мама, есть!

Крик его был негромкий, но назойливый, как комариный писк, и он не давал спать голодным мужчинам и женщинам.

– Есть, есть, есть!

Крик звучал у них не только в ушах, но как будто во рту. Вслед за ребенком вся их утроба кричала: «Есть, есть!» Спать не могли. Старая Курынь не вытерпела, встала и поползла к мальчику, как будто лисица.

«Есть, есть – вот я тебя уйму», – мешалось у ней в голове. Что она хотела унять: мальчишку или собственный голод? Она подобралась к мальчишке, как голодная лисица к молодому и глупому зайчонку, и схватила его своими костлявыми лапами: раз, раз, она перекусила ему горло. Мальчик захрипел и замолк. И его комариный голосок перестал нарушать забытье голодных людей.

Наутро старуха молча вышла из шатра, зажгла костер на открытом очаге, подвесила большой котел и стала растапливать в нем снег. Потом принесла из заднего угла завернутую в шкуру небольшую ношу какого-то странного мяса. Оно бы-

ло бесшерстное, в коже, и темное, как замша. Курынь вывалила всю ношу в котел так быстро, что никто не успел рассмотреть, какое это мясо.

– Где ты взяла? – хотела спросить ее племянница Очида, но как-то осеклась, и вопрос замер у нее на устах. Лицо у старухи было странное, жуткое, и было очевидно, что она не ответит на вопрос. Котел закипал, двенадцать пар глаз напряженно и со страхом следили за ним, и вдруг закипавшее мясо стало ворочаться и подскакивать, как это нередко бывает при варке над жарким костром, и из котла неожиданно высунулась ручонка, показались пять маленьких пальцев, судорожно стиснутых вместе в небольшой кулачок.

Тогда раздался страшный крик. У мальчика не было матери, и за ним ходила его старшая сестра Шан-хаха («девушка-дерево»). Увидав кулачок, она одновременно заметила, что маленького Шилги нигде нет. И тогда она крикнула. Старуха ничего не сказала, сняла котел с огня, вынула большой шумовкой человеческое мясо, выложила его на корыто, как это делают с мясом оленьего тельца, и стала раскладывать на части. На двенадцать человек приходилось двенадцать частей. Страшную голову ребенка, с лопнувшими глазами и облезлыми волосами, она не пустила в дележ, а положила на пластинку березовой коры и унесла в лес. Люди ждали в оцепенении. Курынь вернулась к столу держа в руках двенадцать берестяных полосок, и стала перекладывать на белую бересту человеческое мясо. Потом обнесла и раз-

дала ожидающим порцию за порцией, кусок за куском. И так вышло, что на долю Шан-хахи выпала та самая детская ручка, которая так устроила всю семью.

– Оставь! – крикнула Шан-хаха и хотела оттолкнуть ужасную пищу, но старуха ничего не сказала и вытащила из рукава длинный блестящий и узкий ножик из кованой стали.

– Ешь! – продохнула она и подняла в руке, судорожно стиснутой, отточенный клинок. Все стали есть, как заколдованные. Племянница старухи, Очида, глодала плечо, а несчастная Шан-хаха объедала ручонку своего собственного любимого братишки.

В эту ночь старуха победила свое племя и подчинила его своей обезумевшей воле. Никто ничего не говорил, никто ничего не решал, но страшная старуха стала как будто злым духом, который тоже питается человеческим мясом и особенно охотно поедает маленькие сладкие душонки одунских мальчишек и девчонок.

После страшной еды ждали еще десять дней. На промысел уже не ходили и сидели в шатре, чего-то ожидая. На десятую ночь старуха разбудила Очиду, сунула ей в руку свой блестящий, остро отточенный нож и указала глазами на девочку Чунду, которая спала в углу. Очида послушно поползла и сделала с Чундой то же, что злая Курынь сделала раньше с мальчишкой, однако не зубами загрызла, а в горло кольнула ножом. Очиде казалось, что это ползет не она, а старуха. И жадность старухи поет у Очиды в горле, и рука старой Куры-

ни водит ее молодою рукой. И наутро так же точно сварили, разделили и съели это страшное мясо, и никто уже не крикнул, никто не отказался.

И так они жили одиннадцать недель, убивали и съедали малых и больших, женщин и мужчин, из шатра никуда не ходили и промысла не стали искать. Уже подломилась голодная весна и собиралось пролиться обилие горячего лета. В тополевых рощах заплакали зайцы, и в таежных озерах заплескались ходовые чирьи (рыба). Но последние люди Балаганчиков в промысле уже не нуждались. Они были как злые духи и не имели возврата назад, к человеческой жизни. Резали добычу женщины, Очида и Шан-хаха, по указке старой Курыни. Зарезали и съели старика, престарелого дядю Очида, – все равно от стариков пользы нет. Остальные мужчины не спали по ночам, затаивши дыхание, и ждали, опасаясь, не настала ли их очередь.

Старуха Эмеи наконец очнулась и стала рассказывать дальше:

– Был мальчик по имени Кендык, вот так же, как этот Кендык, из вашего Заячьего рода, такой же молодой и такой же удалый добычник. Четыре ночи не спал Кендык и все сторожил людоедиц и увидел наконец, как Очида ворохнулась, тихонько достала из рукава длинный нож, – его деревянная ручка была в черных пятнах от пролитой крови. Очида потихоньку поползла, как злая росомаха, к несчастному Кендыку. И Кендык не выдержал, крикнул, выскочил вон из

шатра, не дверью проскочил, а прорвал ветхую крышку из полусгнившей замши. Скатился с угора на реку. Река уже вскрылась, и даже прошел ледоход, и только последние мелкие льдинки говорили о долгом и скучном голоде снежной зимы.

Кендык с разбегу кинулся в «ходол»⁵, оттолкнулся от берега, как ветка, подхваченная ветром, и поплыл вниз по течению. Загребая налево и направо двухлопастным веслом, он еще не проехал и четверти плеса, как сзади услышал погоню, плесканье таких же двусторонних весел и крики:

– Стой, погоди!

Это старуха Курынъ и страшная Очида догоняли его в челноках, таких же быстроходных, и кричали:

– Погоди, погоди!

Три долгих плеса гнались людоедные женщины за молоденьким Кендыком, приказывали ему подождать, просили, умоляли и читали заклинания, которые силою духа-помощника отнимают быстроту у гонимой добычи, – мохнатой, четверокопытной или двуногой, голошерстой.

Старуха замолкла. Перед глазами ее, на расстоянии полвека, живо встала картина бегства мальчика от обезумевших преследователей.

– Я в то время была у Балаганчиков, – пояснила она, – но только в другом полурode, оттого меня не съели.

Кендык уплыл, бабы покричали и отстали. Два десятка

⁵ Ходол – челнок, сшитый из трех досок.

дней спускался перепуганный мальчик по реке Омолону, добрался до самого устья и попал в руки русским. И начальник допытался о голоде народа и о пище, которую он ел.

– Ты сам тоже ел? – спросил он у Кендыка.

Кендык поник головой.

– Товарищей мясо жевал, а своим поступиться не хотел? – настаивал начальник. – Будем судить тебя и судить твое племя – людоедных старух.

И Эмеи опять завела:

– Осенью исправник послал казаков к омолонским одунам. Они шли два месяца наперерез огромных рек и добрались до страшного шатра. Людей в шатре не было. В углу и за углом валялись разбитые кости, расколотые голени, раздвоенные черепа. Их глодали песцы, и нельзя было ясно разобрать, сколько именно съели одуны мужчин и женщин, и подростков, и маленьких детей. Две людоедные женщины, Курынъ и Очида, остались последними. Их никто не зарезал, но живы они не были и лежали в углах, вонючие и темные, и песцы обглодали их лица и стали понемногу отгрызать и растаскивать кости.

Присудить их к наказанию не мог даже сердитый начальник. Казаки собрали перееденные кости в большой берестяной туес и зарыли его в землю. Берестяной туес стал безымянной общей могилой.

Зато Кендыка начальник послал на съедение русским. Его посадили в холодную избу, приковали к стене, и два года он

не видел солнца, не втягивал свежего воздуха. Кендык не вытерпел и умер.

Старуха рассказывала эту страшную повесть отрывисто, частями, и как будто не другим, а себе.

– Так было, так будет, – сказала она. – Было две Курыни, два Кендыка, но только Чобтагира не было у тамошних «зайчат». Был там Чобтагир, но задолго до голода умер. Он был любопытный, многознающий старик. При нем бы такого не случилось. А наш Чобтагир только глупый и злой, не может унять никого: ни духов, ни людей.

– Молчи! – крикнул Чобтагир страшным голосом.

Эта ужасная легенда или быль была известна многим. Она веяла над племенем одунов, как дыхание смерти. Тогда были люди-людоеды, теперь духи-людоеды просят у племени жертв. Перед глазами Чобтагира проплыли страшные фигуры с зубастыми пастями и когтистыми лапами. Им нужно мягкое, нежное мясо, детское, девичье, женское. Но девченок, пригодных для жертв, старухи не дадут.

«Кендык», – подумал Чобтагир, но и первого, старшего Кендыка духам съесть не удалось. Его доели русские, далекое начальство.

Глава четвертая

Лыжные охотники погибающего племени выгнали из леса на твердую тундру обрывок оленьего стада. Было оленей штук двести, не то они были дикие, не то одичавшие, отвыкшие от общения с людьми.

Все же у одунов оказалось весеннее мясо, и можно было забыть на время о страшной работе людоедной старухи Курыни.

Вскрылась река. Появилась хорошая рыба, ходовая и жиловая. Но не было по-прежнему ни чая, ни муки, ни – о горе! – табаку, хотя бы на единую жвачку, на малую затяжку из трубки, и уцелевшие охотники стали говорить: «Довольно сидеть, чего еще высидим? Идем за товаром на Родчеву. Не приходят якутские торговцы. Сами пойдем, отыщем, силою притащим».

В последний июньский день, когда ошалевшее солнце три недели бессонно бродило по небу, на верхнем плесе увидели мелькание отблесков. То были отблески шестиков. Кто-то поднимался в челноке снизу наверх, толкался в ослепительном небе. Кто-то шел оттуда, где было жирное якутское масло и сладкие дорогие русские продукты. Одуны молча ждали у реки. В вертлявом челноке, долбленном из осины, приехал человек, маленький, тощий, в замшевом кафтане, с длинными и тонкими руками и ногами. Они были такие прямые, что

думалось, может быть, это и есть деревянные шесты, и этими шестами толкался пришелец о тинистое дно.

– Здравствуй, Багылка! – окликнул Шоромох с важностью в голосе.

Это был нищий из нищих, сирота Багылай (Василий), откупленный раб, иждивенец якутского князя Чемпана (Степана) на Родиевой. Багылай был не якут и не одун, был он из племени эвенов, что ничуть не богаче и не лучше погибающих одунов. Здешние эвены некогда ездили верхом на оленях. Но оленей они съели и стали поневоле ходить пешком и вышли с последним о ленным караваном на богатые якутские заимки по многопокосной Родиевой. Тут они жили как черт пошлет, выпрашивали у жирных якутов рыбные кости и объедки, ковали им ножи, когда было железо, нищенствовали, унижались и все больше должны якутам. Отец Багылая, Оляшкан (Алексей), тоже задолжал толстомордому князю Чемпану, не выдержал долга и умер.

Весною «якутская управа» в уплату многотысячного долга распродала имущество покойного Алешки, а главное – детей его: тоненьких, проворных, из охотничьего племени.

Эвены даже пешие превосходят в охоте конных якутов. Багылай был из хорошего охотничьего рода, улавливал искусно горностаев и, случалось, ходил на медведя один на один, с кремневым ружьем и рогатиной.

Он выскочил на берег, вытянул челнок за собой.

– Говори, – приветствовали его хором несчастные одуны.

– Накури нас, – позвала Курынъ. – Три месяца табаку не пили, утроба вопиет.

Иждивенцы у богатых якутов все же перехватывали порою хотя бы листок табаку. Они были удачливее захоластных одунов, навсегда бестабачных.

– Молчи, не дразни, – не выдержал и фыркнул на жену Чобтагир. – Какой табак может быть у злосчастливого якутского раба?

Эвен, однако, вынул из-за пазухи кисет, и одуны с замиранием сердца увидели, что кисет объемистый, раздутый какой-то начинкой.

С важным видом Багылай вынул из кисета два больших табачных листка, разорвал на частички и стал оделять присутствующих.

– Мэ, курите.

– Где взял? – спросил пораженный Шоромох.

– Хо, у хозяина...

– Как раздобрился, – радостно сказал старик, – поеду и сам тоже возьму.

– Вот мы поедем сейчас.

Багылай покачал головой.

– Незачем ехать, – сказал он спокойно. – Хозяина не стало.

– Как не стало, куда не стало? – спросили оживленные одуны.

– Забрали его, – подтвердил эвен. – Далеко увезли.

– Кто забрал?

– Русские советчики забрали, с винтовками, с ножами.

Воинственный дух вспыхнул в глазах у старика.

– А вы отчего не заступились? – сказал он задорно. – На Родиевой есть ружья.

– Нет, – сказал эвен. – Те ружья не для нас, а против нас. Довольно нашей крови выпил Чемпан.

Пусть попробует теперь, когда кровь из самого потянут. Съели нас.

– Что ты такое говоришь? – спросил с удивлением Шоромох.

– А то говорю. Даже кобыла лягается, и корова бодается, а разве человек хуже кобылы и коровы? Мы с русскими, советскими, не станем воевать. Пришли, попросили словить пузатого Чемпана. Он, кстати же, из Родиевой бежал и лесами собирался пройти на высокую Мому, но мы его словили, как ловят бесхвостого зайца, и отдали его русским, советским.

– Да что за советские русские? – почти завопил Шоромох. – Мы знали, бывают начальники русские, и русские казаки, и русские торговцы, а это какие советские, новые русские? Отчего они советские?

– Большие, советские, – сказал Багылай. – Больписки, большаки... Большие почему, ты сам понимаешь, – большие, великие, сильные. А советы оттого, что везде собирают советы, русские, якутские, эвенские советы. Сами ничего не решают, решают советы. А еще особая такая... Особые люди.

Те крепко решают, дважды их ум не идет. Что скажут – то ладно. Как раз. Их все слушают.

– Понять ничего не могу, – сказал Шоромох упавшим голосом. – То без советов ничего не решают, а то советы слушают особую такую.

– Отчего она такая? Отчего ее слушают?

– Оттого, что она умнее всех, – оказал Багылай с важным видом.

– Путаешь ты, – сердито возразил Шоромох.

– Самые умные, самые старые, самые дельные⁶, – старался объяснить Багылай. – Есть посредине земли город такой Керемле, а река у него Маськува, – там в Керемле живут, на реке Маськуве, оттуда направляют. И еще называется «советски власть», а другие называются «кам», «каму...», «каммунысты», «партия».

Он выговаривал незнакомые слова довольно чисто, так что, быть может, и русский пришелец из «Керемле» мог бы уловить их настоящее значение.

Лицо Багылая ослабло улыбкой.

– То – старики, самые умники, а есть и молодые. В нашем городе есть молодые: якуты, эвены, русские, всякие есть. Они медвежата для старых медведей, а имя такое же: «кам...», «ком...», «камчом...», «камчомол».

Одуны устали слушать непонятные слова.

⁶ Некоторые сибирские народности называют коммунистическую партию – Умнейшие или Старейшие, Деловые.

– Будет тебе: кам, ком. Ты толком скажи, что у вас было? Кого забрали? Чемпана забрали, другие как? И как это вышло, скажи.

– Приехали такие молодые, в шапках горшками, рожнами, кожаные куртки, сапоги, и лица безбородые, вроде как у нас, ни одного бородатого. Бритые усы. Один был якут настоящий. Говорил по-якутски, совсем как настоящий «житель». Но только и этот якут особенный.

Приехали, заехали в улусную управу, к Лупандину. Лупандин, вы знаете, писарь толстый такой, напился нашей крови, как клещ, его взяли, вышибли из дома: «поди вон», говорят. Наутро собрали суглан⁷, и сначала по-старому пошло, скотистые люди пришли, тойоны-князцы⁸ собиратели мехов, многооленные торговцы, почтари⁹. Много их, а с ними их братья, приказчики и всякий, кто ест от них и пьет от них. Много пришло, полную управу набили, сесть некуда, стоят. Старым да богатым Лупандин приготовил скамейки. Тут вышел русский начальник, а с ним тот якут.

– Все пришли?

– Да, все стоящие! А тот якут поглядел, кафтаны у них крепкие, шапки у них лисьи, конские сары¹⁰ на ногах. Лица у них толстые, брызнуть хотят.

⁷ Суглан – сход.

⁸ Тойон (князец) – родовой начальник. Скотистый – богатый скотом.

⁹ Арендаторы почтовой гоньбы.

¹⁰ Сары – мягкая обувь особого покроя, чаще всего из конской кожи.

– Вот они какие, – говорит, – словно быки кормленные.

– Все стоящие, – еще раз сказал Лупандин.

Якут засмеялся и говорит:

– Ну, позовите нестоящих.

А уж там на дворе шум, крик. Откуда-то люди узнали и пришли. Малоскотные люди. Долговые по сену, по быкам, по лошадям. Чужие пастухи-погонщики, чужие косари. Вопят на улице: «Пустите и нас!»

Двух послали к начальнику: Кирика да Микшу. Кирик-то – олений пастух, а Микша – сенокосный человек. Летом заказы берет, а зимой обрабатывает.

– Не слушай этих толстых, – говорят. – Нас тоже послушай.

А начальник говорит:

– Пускать вас некуда, мы лучше сами к вам выйдем.

Вышел, спрашивает:

– Люди, скажите, какая ваша главная обида?

Один кричит:

– Покосы и земли верните, улусные покосы все захватили богачи! Нашим лошадям копытом некуда ударить...

А другие кричат:

– Долги надо скостить, пропадаем от процентов! Что больше платим, то больше остается.

А тут подваливает новая сила: иждивенцы – хумаланы, молодые мальчишки – рабы. И не то якуты, а всякие: наши эвенские есть и ваши одунские, взятые за недоимки.

И женщины, веришь, пришли, и безродные старухи. Кричат:

– Напитайте нас!.. Мы век по веку досыта не ели.

И младшие тоже, молодые продажные сироты. Кричат:

– Оденьте нас! Зимой и летом голые ходим.

И показывают приезшему начальству въявь, как они голые ходят.

Этим рассказом одуны были захвачены. У них накопилось обид не меньше, чем в якутском улусе. Они были его частью, окраиной, самой обиженной, бедной, голодной. И вместе с иждивенцами им тоже хотелось кричать: «Напитайте нас, оденьте нас. Мы век по веку досыта не ели».

– Как дальше было, говори!

– А дальше начальник говорит:

– Надо совет выбирать. Кто у вас прежняя управа? Князьцы – князьцов долой, секретарь – секретаря долой, совет – их совет долой. Новый, наш выбирай. Десять человек. Молодых выбирайте, годных для общественного дела.

Поднялся страшный крик. Толстобрюхие все обозлились, кричат:

– Чемпана выбирай! Лупандина хотим!

А пастухи и сенокосцы кричат:

– Кирика да Микшу, своих хотим поставить!

А иждивенцы кричат:

– Поставьте Петра-старика, он хоть старик, да лучше молодого. Он человек справедливый. Он и для нас оторвет у

этих толстобрюхих и масла, и мяса.

– Ну, дальше, – торопили одуны.

– А дальше пошло хуже. Кирик да Микша насакаивают на Чемпана:

– Ты общественный скот продал и почтовых оленей украл.

А Чемпан, такая гадина, пошел напролом, кричит на самого начальника:

– Кто ты такой, мы тебя не знаем! Другие приезжали, к князьям уж всегда уважительные. А ты слушаешь всякую грязь, небывальщину, замаранных людей.

А русский говорит:

– Не знаешь меня, так узнаешь. Кирик да Микша – они правду сказали, тебе это не пройдет даром. Возьмите его!

И двое таких, в суконных рожнах, сразу подхватили Чемпана под руки, потащили в холодную.

И другим богачам говорит:

– Вам то же будет.

Присмирели толстобрюхие.

– Теперь выбирайте совет.

Выбрали пять человек: Кирика да Микшу, это уж так, разумеется, да старого Петра, да старуху Багилису Чубучиху. Да молодого иждивенца эвенка¹¹ Оляшкана. А к ним все-таки богатого Викешу, Чемпанова братана (двоюродного брата). А в секретари, верите, того же Лупандина. А якут говорит:

¹¹ Эвены – ламуты, эвенки – тунгусы. Оба племени родственны друг другу

– Не надо Лупандина, я сам буду для вас секретарем...

– Дальше, – настаивали одуны.

– А дальше пошло по-худому, – сказал Багы-лай. – Чемпановы братья ночью открыли холодную, вывели Чемпана из холодной, ружья разобрали из склада, взяли лошадей, усаkali. А кто-то попробовал лучшую юрту поджечь, где были гости. Да мерзлые плахи, такие снежистые, не загорелись. Так началась у нас война...

– А теперь как?

– Так и воюем. Они нас донимают, мы их донимаем. Вот Чемпана словили. Весь скот ихний разобрали, поделили, который съели, который пасем. Их зло берет. Прячутся, с ружьями ездят. Скота у нас нету, за лошадиную голову две человеческих берут. Пошла поножовщина, война.

– А Чемпана кто словил? – спросил с интересом тоненький охотник Мамекан.

Он был с виду меньше и нетолще Кендыка. Лицо у него было детское, словно пятнадцатилетнее, а на деле ему было под сорок, он убил на веку больше десятка медведей. В зимнее время в берлоге, а в летнее – прямо под деревьями.

– Кто Чемпана словил? Я словил, – с важностью ответил Багылай. – Мы, ламуты, иждивенцы. Он, видишь, приехал на заимку. Там были коровы, мы их пасли. Приехал, пообедал, флягу с аракой достал, поднес по стаканчику. Удивились, отчего он такой добрый. Спрашиваем:

– Что слышал? Говори.

А он отвечает:

– Ничего не слышал. – А потом рассердился, даже лицо почернело, и крикнул: – Не будет того, чтобы русские стали законом! Забрать у тойонов и отдать хумуланам! Безобразие такое!

А мы слушаем, не понимаем: как это забрать и отдать?

А при ихних дорожных конях приехали два пастуха. И они нам рассказали, что и к чему.

– Натерли ему холку, – говорят. – Сала слупили от жирного черта. Сбежал от начальства, супротивник. Вот так-то иждивенцы поступают в улусах и управах...

А мы себе сказали: «Мы тоже так поступим». И собрали суглан, ночью, под луной, потихоньку. Ждать, говорим, не надо, пока не очухался. Мы тоже заберем и тоже отдадим. Мы скот заберем и главную скотину, безрогого хозяина. Прямо к Чемпану пришли, скрутили ему руки. Он сперва отбивался, брыкался, кусался. Так меня снизу укусил, потом запросил:

– Отпустите меня, по лошади дам.

А наши смеются.

– Где возьмешь? – говорят. – Отошли от тебя и коровы и лошади.

А он говорит:

– Лобанчиками¹² не поскуплюсь, только отпустите.

– А, лобанчиками...

¹² Лобанчики – золотые червонцы.

Вот стали обыскивать его. Одежу-то пороли, кожу его собственную хотели подпороть. Нашли его золото. Зашито не в одежду, а в конское седло.

Повезли его к начальнику, в Родчеву. Два дня ехали, подъехали к Родчевой, тут выскакали к нам главные Чемпановы родовичи, племянники и братья со всей командой. Ружья у них. Постреляли, побили нас, отняли Чемпана. Брата Чемпанова мы тоже убили. Племяннику брюхо подпороли, а сам Чемпан ушел.

С тех пор идет у нас круговая ловитва, гоньба. Сегодня мы их гоним, завтра они нас гонят. Конца-края этой гоньбе не видно.

Глава пятая

Гостя накормили оленьим мясом, оно было «загорелое», лежалое, с запахом, с мыльным налетом. Но это было привычно для всех, для одунов, эвенов, якутов и для северных русских. Даже приезжие с юга чиновники быстро въедались в эту северную пищу и жирную рыбу с запашком, примороженную в зимнюю стужу, явно предпочитали свежей.

Одуны накурились табаку в первый раз после многомесячного перерыва. Курили все сразу: мужчины, женщины и дети, даже мало примешав в табак скобленого дерева. Единственный кусок сахара, привезенный эвеном, не белый, а серый от грязи, не стали делить, а просто положили на шкуру и долго сидели и смотрели на него. Он был слишком мал, чтобы делить его: кому его отдать?

– Деду-покровителю, – предложил Чобтагир.

Но все ответили молчанием. Отдать сахар деду – значило отдать его самому шаману.

Шоромох не выдержал и стал возражать двоюродному брату:

– Гостинец – от русских. Зачем нашему деду русские гостинцы? Пусть ест свои.

– Его горло тоже хочет чужого, – повторил Чобтагир обиженным голосом.

Он чувствовал щекочущее желание острого, сладкого, чу-

жого в своем собственном горле. Это желание было такое острое, что он ощущал его как чувство самого божественного деда-покровителя.

– Реке отдадим, – выступил Шоромох со встречным планом. – Она – наша кормилица, рыбу нам дает, сладкая рыба, и сладкое за сладкое.

Река-кормилица была женским божеством, но предводительница женщин, молчавшая доньине Курынь, выступила с предложением более близким к интересам текущей минуты:

– Маленьким детям отдадим, на них хватит.

– Скольким? – спросил деловито Шоромох.

– Всем одиннадцати, – ответила Курынь.

– Нет, четверым, – возразила Кия.

Она имела в виду самых маленьких детей, двухлетних и трехлетних. Было их четверо, и всех их кормили грудью матери, одного из них кормила сама Кия.

В голодное время это доставалось им трудно, и несчастные матери так исхудали, что были похожи скорее на живые манекены, костлявые скелеты, обтянутые бурюю кожей, с мешками висящих грудей. Дети все-таки жили, высасывали жидкое молоко из этих полуиссохших кожаных мешков.

– В воде разведем, пусть будет вроде вина, – предложила другая мать, Отолия, но при слове «вино» все племя пришло в необычное возбуждение.

– Мы сами выпьем, – кричали мужчины, – весь век не пробовали, выпьем, захмелеем.

Старуха Карито даже заплакала от жадности. Победило массовое предложение. Драгоценный кусок сахара растворили в котелке горячей воды, потом остудили, и все подходили с важным видом и выпивали по малой оловянной чарке.

Охмелеть одуны, положим, не охмелели, но все же пришли в прекрасное настроение. И стали приставать к приезжему с вопросами:

– Какие большаки, вправду ли они большие, или такие же, как все люди? И если они большие, зачем передали такие маленькие гостинцы?

– Они не прислали, – сказал обидчиво эвен. – Я сам привез. Они еще даже не знают о вас.

– А зачем не знают? – ворчали одуны. – Должны все знать, если они умнейшие.

Это было новое неслыханное требование. О прежнем начальстве никогда так не думали. Мечтали о том, чтобы оно забыло об одунах со своими постоянными требованиями ясаков и уплаты долгов, дорожных, рыбных повинностей. А от этого нового правительства, еще не зная его, уже требовали заботы и внимания.

– Отчего «большаки» не приехали? – спросил Шоромох уже прямо. – Тебя послали. Они большие, ты маленький.

Эвен усмехнулся.

– Так старые люди сказывали. Вот и я вам расскажу. Шел по лесу стрелец и набрел на землянку, дверь отодрал, а в землянке дед лежит, такой длинный, изогнутый, голова на поро-

ге и ноги на пороге. «Ты кто таков?» – спрашивает дед. – «Я – посланец». – «А кто послал?» – «Князец послал!» – «К кому послал?» – «К тебе послал!» – «Зачем послал?» – «Скажи, – говорит, – пускай придет пирога поесть». – «А велик ли пирог?» – «На три леса, на четыре реки, на семь болот». – «А кто его везет?» – «Олень везет». – «А велик ли олень?» – «Голова на Индигирке, а хвост на Колыме». – «А велик ли князец?» – «Если шапку наденет, за небо заденет». – «Пирог велик, князь велик, олень велик, ты зачем мал?» – «А я вчера родился, сегодня на дело годился. Я еще не вырос». – «Ну, ладно, ступай. Скажи: либо буду, либо нет». Вот и я еще не вырос, – сказал эвен при общем смехе. – Но я вырасту.

– Пересядь ко мне, – предложил отрывисто Чобтагир.

Это было почетное внимание, поскольку божественный служитель был наиболее почетным членом одунской общины.

– Отвечай, о чем спрошу тебя. Скажи, большие вызывали попа из Верхне-Обединского острога?

В устах шамана это был вопрос профессиональный.

Верхне-Обединский острожок был упразднен и покинут за ненадобностью уже столетие назад. Еще уцелела церковь. Правда, последний поп, служивший в этой церкви, тоже умер лет десять назад. Но от него остался семейный корень, дочери, все незамужние, пять девиц. Поповские дщери вели свое девичье хозяйство по всем правилам северного производства: рыбу ловили, ставили капканы на лисиц, даже на

белок ходили с ружьем. И хотя не имели мужей, но все же рожали детей. Обличье у детей было разное: у одних – подходящее к русскому, у других – подходящее к якутскому, с широкоскулыми лицами, обтянутыми коричневой кожей. У третьих было даже эвенское обличье, тщедушное, сухое, как у птиц. Но дети у девиц не держались и мерли, и в усадьбе на всех пятерых оставался только мальчик Алеша, последний сынок последней младшей дочери. Он был хилый, с кривыми и слабыми ногами, пожалуй, немногим лучше последнего русского царенка, Алексея Романова, с которым он случайно совпадал и по имени.

Рядом с поповской усадьбой жило семейство обединского дьячка. Дьячок Парфен был старый, лет за шестьдесят, но для своих лет еще совсем бодрый. Он был неграмотен и плохо говорил по-русски. Но иногда все же помогал попу при службах, даже Апостола читал, – конечно, наизусть, не глядя в книгу и почти ни слова не понимая из кудрявых фраз церковнославянского наречия.

Лет пять после смерти попа церковь стояла без службы. Но в последние годы Парфен осмелел и стал справлять службу, – правда, редко и только в большие праздники. Но служил он по-своему, в сущности, не служил, а шаманил.

Он отобрал три иконы: Николу-чудотворца, Спаса и Спасову мать. В церкви был ильинский престол, но икону Ильи-пророка Парфен отверг: сердитый Илья, жутко смотреть на него, укусит Илья.

Избранников своих Парфен расставил на полу рядом и поставил перед ними угощение: свечей и ладану у него и в помине не было; но он налил стеклянную лампадку рыбьим жиром и запалил фитиль из моха. Кругом лампадки была пища: вареная рыба и мясо, колбасы, пирожки и другие туземные блюда. Парфен плясал перед богами, прыгал, уговаривал их:

– Ешьте больше, ешьте и нам тоже давайте!

Эти своеобразные празднества привлекали эвенков и даже богатых якутов. Все приходили и приносили дары, не только рыбу и мясо, но и белок. Под церковно-шаманскую службу подводилась, таким образом, прочная экономическая база.

Церковную службу Парфен, как указано, справлял дважды в год: на Пасху и на Рождество. В другое время он тоже служил, но уже не в церкви, а у себя в избе. У него был собственный бубен, не хуже шаманского, и он призывал по порядку различных богов: эвенского Гауки, якутского Белого бога и русского Спаса Милостивого. Чтобы разговаривать с ними, он вызывал духов-переводчиков, по одному на каждую народность. Одунские духи говорили только по-одунски, эвенские – по-эвенски.

– Часовню раскрывали? – настойчиво спрашивал Чобтагир.

В Родиевой была часовня – деревянный сруб с крестом на крыше. В часовне порой служил настоящий поп, проездом

из Средне-Обединска.

– Часовню раскрывали, ага, – подтвердил эвен, – даже богов всех повытаскивали наружу. Большие не верят российским богам. Это, говорят, все обман, деревянные доски, обираловка. А Парфена как вызывать стали бы? Он, как весть получил, ушел от больших, схоронился в лесу.

Одуны молчали в удивлении.

– А может, они любят наших здешних божков, душков маленьких! – сказал Чобтагир несмелым, просительным тоном.

Эвен покачал головой:

– Наших тоже бранят, особенно шаманов. «Не верьте им, – говорят. – Обманщики они, все только зря обирают вас».

– А какие же у них собственные боги? – спросил Чобтагир.

– Богов у них нет своих, есть человек самый большой, оттого и зовутся большие. Имя тому человеку Ленин.

– Живой? – спросили все с огромным интересом.

– Был живой, а теперь покойник. Однако он есть и ныне, помещается в городе, лежит в гробнице, сторожит свои большие дела.

Это одуны поняли. Им было близко чувство почтения к покойному герою.

– Постой, – припомнил неожиданно Шоромох. – У русских в срединном городе еще белый князь был, солнцеликий господин. А он теперь где? Он, знаете, был ледяной, а не сол-

нечный, и дом у него был тоже из нетающего льда¹³.

– Слыхал, уничтожили его, – сказал эвен. – Солнце поднялось, лед растаял, и стала лужа.

– Кто был на месте его?

– Ленин, – повторил эвен. Он оба раза повторил это имя совсем чисто. Его легко произносить на различных языках.

Молодежь сидела молча. Ей не следовало вмешиваться в разговоры старших. Но при втором повторении этого звонкого имени у мальчика Кендыка почти непроизвольно вырвался вопрос:

– Какой Ленин, видеть бы его...

– У меня есть лицо, – сказал эвен с таинственным видом.

Он порылся в своей берестяной табачнице и достал оттуда оборванный листок помятой и запачканной бумаги.

– «Исколу» затеяли большие для якутских детей, – сказал в пояснение эвен. – Такие бумажки привезли, детишек заманивать.

Листок представлял обрывок букваря. На листке было лицо, знакомое всему миру; даже сибирские туземцы в наиболее глухих захолустьях прямо говорили «лицо», так же, как некогда греки в Александрии тело Александра Македонского, находившееся в мавзолее, просто называли «сома» – тело.

Под лицом было пять знаков, непонятных для оду нов. Кен дык ткнул пальцем в знаки.

¹³ Нетаяющий лед – стекло; солнцеликий господин – царь.

– Дай-ка сюда! – Он разложил листок и с пылающим взглядом стал быстро срисовывать лицо и знаки.

Он рисовал на белой бересте тонко очиненным кусочком березового угля, но лицо вышло у него похожим, а знаки совершенно тождественными. Северные народы вообще обладают большими художественными способностями.

– Как сказал ты? Ленин? – переспросил он опять.

– Вот, вот, вот, вот, вот: Л-е-н-и-н.

Он разделил без учителя указанное слово на пять звуков, и каждый из них соответствовал одному из пяти знаков. После того он быстро перевернул бумажный листок на другую сторону, где тоже были рисунки и слова. Там были нарисованы мелкие олени группами: один, два, три, четыре. В таком же точно роде ацтеки в Мексике записывали счет головами индейек. Под группами мелких оленчиков стояли цифры: 1, 2, 3, 4, а внизу была общая подпись тоже из пяти знаков, и, всматриваясь в них, Кендык с удивлением увидел, что они очень похожи на знаки предыдущей страницы. Он даже прочел их: л-е-н-и, а пятый знак стоял впереди и был похож на кружок или на открытый рот. Кендык открыл рот, сделал его круглым и почти произвольно выговорил «о». И вышло, таким образом, второе слово: олени. Второе слово, написанное на неизвестном языке незнакомыми знаками, расшифровал по-одунски мальчик.

– Ух, хорошо, – сказал он с увлечением – Новые слова. Еще какие есть слова?

– Не знаю, – признался эвен. Потом подумал и прибавил: – Ну, скажем, – совет, большаки.

– А знаки какие? – настаивал Кендык. Эвен опять подумал.

– Вот я тебе дам еще бумажку. Взял на сигарки, да уж пусть.

Он достал из табачного кисета обрывок газетного листка.

– Вот, – показал он. В заголовке стояло слово с теми же знаками: Ленин. Вторая половина была незнакомая, но эвен подумал и сказал: – Ленинград.

– А что это «Ленинград»? – настаивал мальчик.

– Город Ленина, – ответил эвен.

Ум его был такой же острый, как у одунского мальчика, и он успел нахватать от приезжей комиссии обрывки слов и знаний.

– А вот это советская метка, – сказал эвен; он достал из-за пазухи другой листок с рисунками, тоже для школьного употребления. – Вот видишь, это советская метка: горбушка да молот.

– Горбушка для чего? – спрашивал Кендык.

– Хлеб стричь.

Якуты косили сено кривою неуклюжею горбушей, которую каждый раз приходится заносить через голову. Она дает прокос круглый и неровный, с большими прорехами там, где сходятся разные круги. Маленькой горбушей – горбушкой – якуты называли стальной серп, который тоже был кривой,

но гораздо короче горбуши. Другое имя серпа было «коло-согрыз».

– А зачем горбуша и молот? – спросил с интересом мальчик.

– Горбуша для хлебных работников, – объяснил эвен, – а молот – для работников железного дела.

– Ах, – сказал с уважением мальчик, – ты все знаешь.

Эвен погостил и уехал, но жало его рассказов осталось в душе восприимчивого мальчика. Целыми часами он рассматривал рисунки на листах, неровные газетные строчки. «Как они бегут, – думал он. – Длинные-длинные, узкие-узкие, а все рядом. Какие слова тут написаны?» Он упорно разглядывал газетный листок, стараясь разыскать знакомые ему знаки.

«Вот Ленинград, вот еще раз Ленин. Кто был Ленин, откуда он взялся и каков его город? Как попасть в Ленинград? На запад, далеко, далеко, вниз по воде. Все доброе восходит от устья, вверх по воде, все хорошее восходит по воде, и нечего ждать, надо спуститься вниз по воде, навстречу хорошему. Так же и с запада раньше приходило все худое: злые начальники, казаки, злые болезни, обманщики-купцы, а теперь все, видится, стало по-новому: с запада стали приходиться какие-то новые, неслыханные вести, большие работники, Ленин, большие приказы: „богатство отнимите от купцов...“ Город Ленина... Можно ли попасть в город Ленина, перейти через пустыни, спуститься вниз по воде и далеко ид-

ти? Жирная рыба тоже восходит от устья, вверх по воде, а осенью тощает, опускается вниз по воде и дохнет по дороге. Трудно идти по воде. И, может быть, если пойти по воде, то издохнешь, как тощая рыба. Ух, не знаю... Как бы узнать?»

Мальчишка в недоступной одунской глуши, от случайного слова проезжего эвена, от газетного обрывка, почувствовал жажду перемен, любознательное желание узнать что-либо новое, прыгнуть в это новое, как в прозрачное озеро, плавать в нем и забыть навсегда о своей унылой, постылой, голодной жизни.

Глава шестая

На заимке Спиридона Кучука, зимою и летом, рано поутру начиналась обычная возня. В хотонах (хлевах) мычали коровы, ревели быки и телята стучали недовольно в деревянную дверь своим деревянным ошейником, который не давал им высасывать ночью коров. Все хотели есть и пить, коровы стремились избавиться от молока, накопленного за ночь, и требовали, чтобы их подоили. В зимнюю долгую ночь, задолго до рассвета, и в летнее бессонное утро, когда, утомленные незаходящим солнцем, засыпали даже птицы на ветках, устав от хлопот, щебета и писка, – вставали домашние работники старика Спиридона и начинали свой бесконечный трудовой день, который был много труднее и хлопотливее, чем у небесных птиц. Настоящих работников Спиридон не нанимал. Все его работники были иждивенцы, беспризорные сироты, должники, недоимщики, попавшие к нему в кабалу по решению наследного¹⁴ суда без всякой надежды когда-либо выбраться на волю. Их было пятеро. Старуха Манкы и другая, помоложе – Хаспо – достались Спиридону просто даром, за кормежку. Впрочем, есть им давали очень мало. Они объедали и обсасывали рыбы кости, оставшиеся от хозяйского обеда, пили ополоски кирпичного чая, а в летнее время

¹⁴ Наслег – часть рода.

– снятое молоко и ели самую худую, жидкую кислую сорат (простоквашу).

Был Капитон, недоимщик-сосед. Старик Спиридон платил за него ежегодно тридцать рублей в наследную управу. То была плата за мертвые души, за родичей, которые числились по сказкам и которых давно уже не было на свете. Было еще двое прибудных парнишек, роду неопределенного – не то эвенов, не то эвенков.

В ужасный голодный 1916 год, когда недовоз пороха для ружей и нити для вязания сетей вызвал на Севере повсюду недобой лесного зверя и недолов рыбы, где-то в далекой тайге полевая семья доела последних оленей и, не зная, что делать, вышла к ближайшему якутскому поселку. Пошли вместе две семьи, таща на себе сани, на которых лежали скудный скарб и маленькие дети. К поселку добралась только одна супружеская пара, другая осталась в тайге, кое-как зарытая в снегу под корнем развесистой елки.

Те, что остались в живых, бросили скарб, а детей все же привезли. Муж тащил одну нарту, женщина – другую. Так они пришли к усадьбе Спиридона. Под лохмотьями у них было несколько белок, добытых с осени в разных местах луком и стрелами. Спиридон этих белок забрал.

Жили пришельцы в хлеву, кормились похуже собак и к весне понемногу перемерли, кроме двух старших мальчишек: Уйбана и Степана. Они были не братья и даже не родственники, а просто соседи. Родители Уйбана остались под

деревом в лесу, а родители Степана – на якутском кладбище, под еловым крестом. Мальчикам было теперь по шестнадцати лет. Решением наследного совета они были отданы Спиридону впредь до совершеннолетия в работники за то добро, которое он им сделал, когда приютил их, голодных, по выходе из леса.

В это погожее яркое утро слуги Спиридона вышли на работу, как обычно, без завтрака. Мужчины разобрали деревянные вилы и крюки и стали растаскивать сено, которое хранилось под навесом за особой оградой. Обе женщины с плоскими берестяными турсуками отправились к коровам. Они обходили одну за другою пеструх и чернух, подпускали на минуту телят, так как без этого коровы не давали молока, и немытыми руками в немытую посуду сцеживали молочную дань. У черной коровы теленок издох уже с месяц, но вместо теленка осталась соломенная туша, покрытая его собственной шкурой, которую толкали корове под вымя. Она лизала «теленка» шершавым языком, не замечая, что изо дня в день он становится грязнее и лысее. Хаспо сходила в амбарчик и набрала провизии на кормежку себе и хозяевам. Хозяевам – двух преогромных и жирных мороженных чиров на строганину и груды кусков мороженного конского мяса на утреннюю варю. Работникам – мешок малорослой мороженной пелядки¹⁵, тощей, ледянистой. Об этой пелядке даже сложилась поговорка: «Когда ее ест человек, она сама ему ест сердце».

¹⁵ Пелядь (бранатка, сырок) – мелкая рыба из обширного семейства лососевых.

Покончив с утренними делами, работники вернулись в свою заднюю юрту, раздули огонь и подвесили чайник над шестом. Капитон был молчалив и мрачен. И когда Хаспо стала вынимать принесенную пищу, он неожиданно встал, отнял у нее мешок с мороженой мелкой рыбой, вынес на улицу и стал скликать дворовых собак, которых в северных поселениях всегда больше, чем надо.

– Пестряк, Воронок, Беляк...

Он разбросал им мороженую рыбу, предназначенную для работников. Собаки понюхали, постояли и отошли. Этой рыбы они тоже есть не хотели. Потом понемногу разобрали, отнесли к стене и стали нехотя грызть, быть может, затем чтобы не обидеть хозяина. Для них Капитон был не только рабом, но и хозяином.

Вернувшись домой, Капитон взял черный котел, сложил в него принесенное мясо и поставил варить у огня. Потом принялся чистить и резать самого большого чира.

– Что ты делаешь? – сказала со страхом Хаспо. – Вот придет Спиридон...

– Пусть лучше не приходит. Давай молока, белого масла тащи, ягод, чаю покрепче завари.

Хаспо хотела возразить.

– Давай... Убью, – негромко, но жутко оказал Капитон.

Через двадцать минут на рабочей половине шел пир горой, расхищалось хозяйское имущество. Не было лишнего шума, хумулань молчали, но с азартом угощались от-

борными продуктами из домашних запасов Спиридона. Мясо опростали из котла, было оно чуть обваренное, жирное, необычайно вкусное. Даже лепешку испекли на рожне, перед углями, и макали ее, горячую, в растопленное масло. Ели молча, торопливо, с сосредоточенным видом, как будто исполняя какую-то важную, неотложную работу.

Для их отошалога тела эта работа была неотложная. В первый раз за пять лет торопились они наполнить голодные желудки настоящей пищей. Время проходило, и они никак не могли насытиться. И вдруг закричала боковая проходная дверь, и вошел старик Спиридон. Он только что проснулся, на нем была обувь из старой лосины, и на груди распахнулась короткая куртка из старого лисьего меха. Он не сразу разобрал, в чем дело. Только удивился, почему его работники так долго сидят у низкого стола, придвинутого к очагу. А потом увидел масло и мороженую рыбу и рывкнул, как медведь:

– Собаки вороватые, обжоры!

Капитон неторопливо встал, обтер замасленные губы ветхим и грязным рукавом и подошел к хозяину:

– Теперь давай табаку и сахару, новую одежду давай, довольно носили лохмотья.

Он с презрением дернул за ворот свою обветшалую куртку, она разорвалась пополам и упала с его костлявых плеч, как чешуя.

– Все, что полагается, давай, иначе не будем работать.

– Убью! – закричал Спиридон тонким, пронзительным го-

лосом.

Тогда Капитон так же неторопливо снял с грядки длинную стальную палму, тяжелое копьё, с которым ходили на медведя, и направил его на хозяина.

– Вы, помогайте, – сказал он товарищам.

И эвенские мальчики схватили свои луки, которыми когда-то убивали в лесу последних своих белок, наложили стрелы-костянки и стали рядом с Капитоном.

Хаспо схватила кроильную палемку¹⁶, обычное оружие женщин, и даже безответная Манкы вооружилась круглым железным скребком на длинной деревянной рукоятке, предназначенным для выделки шкур.

В этом разнообразном вооружении они пошли на хозяина грудью, как на медведя.

На хозяйской половине тоже послышались шум и движение. Выскочил из двери сын Спиридона с кремневым ружьем. Его звали тоже Спиридоном, и он был как копия отца, только помоложе. За ним проскочила его жена Палаха с батасом в руке. Она сунула этот огромный нож, похожий на меч, своему старому свекру. Спиридонова старуха шагнула через порог своими больными ногами просто со сковородником в руках.

Старая Хдопо упала неожиданно на колени.

– Хозяйка, – простонала она и стукнулась в землю лбом. – Дай чистую рубаху, никогда не носила, хочу перед смертью

¹⁶ Пал емка – женский нож.

надеть.

– Ты, сволочь старая! – Хозяйка нетерпеливо толкнула ее ногой.

– Ах, сиренгес!¹⁷ – выругался Капитон, выдвигая копьё.

Схватка готова была начаться, но на улице раздался шум, крики. В дверь вскочили другие работники. Их было человек двадцать. Тут были пастухи от коней и оленей, ночевавшие на пастбище, дровосеки из леса, бедные соседи Спиридона, жившие рядом, в двух маленьких юртах, обмазанных глиной и навозом и скорее похожих на земляные кучи, чем на людские жилища. Они тоже были у Спиридона в постоянном долгу, работали на него почти так же, как его домашняя челядь. И все они кричали:

– Давай, масла давай, хорошего куска не видали, чаю давай, табаку!

Женщины кричали:

– Иголки поломали, ниток, иголок давай, необшитые ходим. Шелку давай вышивального!

И даже маленькие дети пищали:

– Сахару дай, леденцов.

Жившие в вечном голоде, в злой нищете, работники рвались к воле и требовали удовлетворения простейших прав своих: сытой пищи, крепких заплаток на ветхую одежду, ярких узоров на одежде для услаждения глаз.

Спиридон бесстрашно направил ружье в кричащую толпу.

¹⁷ Грубое ругательство.

– Пустите, выстрелю!

Глаза его горели, как у волка. Он пошел к выходу, и никто не посмел остановить его. Не говоря ни слова, вывел он из конского хлева своего вороного огромного коня и стал седлать его.

Капитон выскочил вслед со своим огромным копьём.

– За солдатами поедешь – заколю.

– Какие солдаты! – отмахнулся старик.

Сыновья и невестки Спиридона тоже выводили и седлали лошадей, выносили из юрты переметные сумы, набитые всяким добром, – тут были лучшие меха, которые на Севере каждый торговец хранит у себя в изголовье, нарядная одежда, серебро. Вывели старуху, посадили на лошадь, связали ей ноги под седлом, чтобы она не свалилась. Восставшие несколько притихли. Было похоже на то, что семья Спиридона уезжает надолго и бросает гнездо, не надеясь его отстоять.

– Всего не возьмут, – размышляли мятежники. – Главное осталось – еда, доильные коровы, лошади, олени – лучшее богатство северного скотовода.

Вьючных лошадей не хватило.

– Сходите, приведите лошадей! – крикнул Спиридон сурово, однако не обращаясь прямо ни к кому – Сколько? – спросил Капитон с привычной деловитостью.

Спиридон быстро прикинул в уме. – Шесть лошадей, – распорядился он.

– Хорошо, – согласился Капитон. – Мишка, Иннокентий!

Сходите, приведите.

Два конюха быстро отделились от толпы и направились в лес.

Еще через час лошади были приведены.

– Бери, хозяин, – предложил Капитон почти дружелюбно.

Другие работники стали выючить лошадей остатками клади.

Целый караван лошадей, верховых и выючных, вышел на дорогу.

Спиридон в воротах оглянулся.

– Мы уезжаем, а вы оставайтесь, – сказал он.

Было похоже, как будто он произвел дележ имущества и расстался по-хорошему со своими прежними работниками.

Вдруг лицо его налилось кровью. Он выругался крепким словом по-русски и погнал коня по узкой таежной тропе.

Глава седьмая

Две недели пировали работники в богатом гнезде Спиридона Кучука. Хозяйство с виду шло по-старому. Кормили и доили коров, квасили молочные удои, ходили на высмотры сетей в луговые озера, оленей пасли, лошадей и даже собирались идти на якутскую страду, тяжелый и мокрый покос на болоте, но так и не пошли. Перед тем как устроить покос, затеяли отвальную. Зарезали молодого конька, был он неезженный, в белом жиру, с нежным мясом, слаще, чем мясо ягненка. Конского жиру натопили и сбили его, смутовили с растопленным маслом, приготавливая угощение, достойное богов. Подоили кобылиц и сварили молодого кумыса. Вышел по всем правилам якутский исыэх – праздник, одинаково угодный и людям, и духам.

А пастух Прокопей решил на большее: достал из хозяйских запасов муки и сахару, вывернул ствол из ружья и принялся варить самогон. В этих местах самогона никогда не варили. Сахар и мука слишком были редки и дороги. И Прокопей знал об этом деле только через десятые руки. Все же он устроил куб, наквасил муки с приголовьем и на медленном огне стал охлаждать незнакомый напиток.

С конца холодильника падали мутные капли – кап, кап – и через десять часов наполнился целый котел. Была эта невиданная жидкость мутнее болотной воды и горче мухоморно-

го настоя. Но она показалась новым хозяевам заимки небесным, небывалым напитком. Спирт, который сюда привозили порой от русских, был тоже не лучше. Его настаивали на тертом табаке, и он драл горло хуже, чем царская водка.

«Царскую водку» не пьют. Это не водка, а смесь двух кислот: азотной и соляной. Но северяне, пожалуй, могли бы напиться и опиться даже кислотой с таким лицемерным названием.

Пир шел целый день, к вечеру напились, передались и опять за то же. Даже собак накормили отборными костями. В поило коровам вылили остатки от чертова пива. Коровы жадно вылакали и тоже опьянели. Стучали копытами в хлевах и под навесами, словно собирались плясать. Ревели, мычали. Пьяные люди распевали песни на разных языках: по-якутски, по-эвенски, по-одунски и даже по-русски. Песни были самые простые:

Вот моя трубка,
Трубка,
Я курю хозяйский табак,
Табак...

Коровы и телята тоже как будто подпевали: «Му-у, му-у... Поели Спиридоновой муки, попили огненного пойла, му-у...»

Спиридона не было слышно, и о нем забыли. Во всем околке делалось то же. Шли такие же бескровные бунты, пока

без пожаров, без драки, без пролития крови. Богатые хозяева бежали. Бедняки, батраки, иждивенцы захватили повсюду скот и дома, пировали и думали: вот она, «новая жизнь». По всей тайге и тундре пошел слух: так говорят большаки. Надо весь свет вверх ногами повернуть, чтоб нижние стали вверх, а верхние – вниз. Скот – батракам, покосы – беднякам. Рыбные сети и ловли – для общей работы, рыбу делить поровну. К чертовой матери хозяев! Торговцев не надо, поедем – русские товары сами привезем.

Везде выбирали наследные советы, в Родчево, к русским пришельцам, послали делегатов.

Хозяева, однако, не исчезли. В таежную глушь на восток ушел Спиридон с сынами и зятьями. Тут была у них далекая заимка, огороженная тыном, как крепость. Коров было мало, но были прекрасные кони, лучшие во всем околотке. Их пасли мурчены из рода эвенков. «Мурчены» значит по-эвенкийски – конники. То были тунгусские охотники, перешедшие от оленеводства к коневодству. Они кочевали, и ездили, и охотились на конях. Были они с виду как будто другое племя. Выше, грубее и чернее малорослых оленных эвенков и эвенов, орочонов, орочелов. Орочоны, орочелы буквально – «оленные люди».

Конные эвенки жили сытнее оленных. Они не должны были так много купцам и детей не отдавали якутским соседям в наемные работники. Зато у них у самих понемногу вырастали свои собственные эвенкийские торговцы.

Восточное нагорье называлось Катома. Были на Катоме конские стада и заимки не только у Спиридона, но и у других богатых деловитых якутов. Здесь они собрались и засели в огороженных дворах, с винтовками в руках, с батасами, пальмами, с быстрыми конями и ружейными припасами. Они тоже сбивались вместе: братья родные и двоюродные, дядья и племянники, и тоже собирали советы.

В начальники выбрали старых тойонов, с мундиром, с медалями. Улусным головою по-старому выбрали Чемпана, а писарем – Лупандина. Две Якутии, старая и новая, расположились рядом, только новая сидела на старых местах, а старую оттеснили в лес. Собиралась, как туча, большая кровавая драка.

Первый набег начался опять-таки со Спиридоновой усадьбы. Старик Спиридон приехал навестить свое старое гнездо, захваченное челядью. С ним было двенадцать человек: два сына, два зятя, племянники и пятеро мурчендов, проворных стрелков и ездоков, которые на скачках обгоняли старинных якутских коневонов. Они крепко набили винтовки свинцовыми жеребьями, привесили копыя к седлу и поехали домой по старой, привычной дороге. Эту дорогу издавна знали не только люди, но также и верховые лошади. Они уверенно ступали по тропе, проходившей сквозь лес. При выходе на просеку, ведущую к усадьбе, передний жеребчик весело заржал, предчувствуя отдых и свежую охалку сена.

– Молчи, – с ругательством сказал Спиридон, – зарезу,

ВОЛЧЬЯ СЫТЬ.

Из усадьбы Капитона ответила таким же веселым голосом молодая кобылка. Спиридон узнал ее по голосу, это была пеганка, на которой ездил у конского стада наемный пастух Селифан.

– Стойте, – сердито прошипел Спиридон. – Белый господь, за что разлюбил нас? Вон, даже лошади знаки подают.

Подъезжавшие круто удержали лошадей и ждали в молчании, готовые рассыпаться назад по дороге или броситься вперед и идти на приступ. То или другое.

Так прошло две трубки времени¹⁸. Но приезжие ждали напрасно. В усадьбе никто не шевелился. Люди спали.

Даже кобылка, подавшая голос, замолкла, быть может, задремала.

– Готовьтесь, – сказал Спиридон, – слезайте, коней привяжите.

Дюжина приезжих людей отвела лошадей к сторонке, в лес, и там разделилась на три отряда, по четыре человека в каждом. Два отряда пошли налево и направо, с тем чтобы обойти всю усадьбу кругом и, если возможно, забраться с задворков, где были хлева и конюшни. Третий отряд пошел по дороге к воротам. Нападавшие шли осторожно и ружья держали на весу.

Так подошли вплотную к воротам, но и на этот раз ни-

¹⁸ Хамсы-табак быстринга – «табачной трубки промежуток» – пять-десять минут.

кто не пошевелился. Даже собака не залаяла. Старик Спиридон помолчал, подумал и вдруг с размаху ударил в калитку медноокованным ложем своего старинного штуцера. Штуцер достался ему от прадедов, это был царский подарок времен Александра I с надписью на ложе: «За прекрасные услуги». Прадед Спиридона, тоже Спиридон Головатый, оказал эти «прекрасные услуги» при подавлении восстания якутов Намского улуса, выведенных из терпения притеснениями и жадностью чиновников. Из Иркутска, как водится, прислали солдат. Спиридон Головатый провел этих солдат таежными тропинками в тыл якутам, окопавшимся на старом болоте. Солдаты перебили восставших, а имущество их поделили по рукам, и Спиридону тоже достался заработанный пай. Штуцер был кремневый, потом его переделали, сначала в пистонное ружье, потом даже в патронную винтовку. Прекрасно проверенный ствол бил без промаха любым зарядом, и так же неизменно на ложе светилась старинная надпись – плата за измену соплеменникам.

Этим старинным ружьем Спиридон гулко ударил по тяжелой калитке, сбитой из крепких лиственничных плах.

– Отворяйте, так вас так, хозяин приехал!

Тонко завыла на дворе разбуженная собака. Но больше никто не ответил.

– Ломайте ворота, – отрывисто сказал Спиридон, – вот мы им покажем, как запираяться и молчать.

Младший Спиридон только плечами пожал, подошел к

калитке, нажал тяжелую щеколду, пнул ногой, и калитка открылась. Она не была заперта. Один за другим приезжие вошли во двор, во дворе никого не было.

Гуськом, вереницей, как волчья стая, нападавшие направились к крыльцу, они чувствовали себя довольно уверенно, но лишнего шума делать не хотели. Сени тоже не были заперты. В задней горенке на огромном шестке дымно горела плошка, налитая жиром. На скамьях, на полу спали беспечным сном мужчины и женщины, бывшие работники Спиридоны.

На столе были разбросаны куски недоеденного мяса, тяжелые конские кости, бутылка самогона, наполовину полная. Новые хозяева усадьбы продолжали наслаждаться, пили, ели и знать ничего не хотели.

При виде мяса и вина злоба Спиридоны вспыхнула с новой силой.

– Вставайте, сволочь! – крикнул он.

Он выхватил из-за своего чеканного пояса короткий арапник и со всего размаха хлестнул по первому телу, которое попало ему на дороге.

Усадьба огласилась тонким, пронзительным воплем:

– Ай, убивают!

Это была злополучная Манка. Она спала на земле совершенно голая и ничем не вооруженная. Даже ее неизменный железный скребок валялся в стороне, небрежно брошенный.

– Бейте их! – крикнул молодой Спиридон.

«Гости» молотили налево и направо палками, арапниками и просто кулаками. Никто не прибежал к оружию, за полной ненадобностью. Ошеломленные работники визжали и выли, но ничуть не сопротивлялись и даже не делали серьезной попытки убежать.

– Вяжите их! – крикнул молодой Спиридон.

Нападавшие стали вязать захваченных врасплох вожжами, поясами, ременными поводьями. В каждой якутской избе есть много обрывков ремня. Четверо пришельцев связали четверых: двух женщин – Манку и Хаспо, старого Варлама и подростка Кучукана. Оба – Варлам и Кучукан – работали прежде при копях, но с самого начала революции бросили коней и ушли в усадьбу.

Дальше, однако, пошло не столь гладко. Эвен Степанчик очнулся быстрее якутов. Он вскочил на ноги, бросился к выходу, по дороге наткнулся на Михея, Спиридонова зятя, и, недолго думая, ткнул его в бок узким ножом, с которым эвен не растается ни наяву, ни во сне. Нож взрезал кожу Михеева тела, но вглубь не пошел. Михей, однако, взвизгнул не хуже несчастной Манки:

– Ай, убивают!

– Держите, держите! – крикнул молодой Спиридон, но Степанчик, как молния, уже выскользнул за дверь.

Во дворе тоже шла драка. Левый и правый отряды нападавших перелезли через задние заборы, забежали в конюшни, в хлева и били всякого, кто ни попадался. Здесь в ход шли

длинные ножи, которыми северяне владеют с таким несравненным искусством. Двое убитых батраков лежали на земле. Пастух Прокопей – самогонщик – метался по двору, стараясь уклониться от длинного копья, которым колол его Пака, конный тунгус, впрочем, без особого успеха. Рубаха Прокопея была в крови – копьё все-таки кольнуло его дважды: в плечо и в руку, но это были скорее царапины. В руке у Прокопея был топор на длинной рукоятке. Пака сделал новый выпад копьём.

Прокопей с силой отчаяния рубанул топором, перерубленное древко хрустнуло, переломилось, и головка отлетела в сторону. Тогда Прокопей подскочил к Паке, снова рубанул топором, и Пака с раскрытым черепом повалился на землю.

– Ах, абагы киги!..¹⁹ – выругался Спиридон. Он сдернул с плеча свой испытанный штуцер, приложился и ударил. Прокопей подскочил, как олень, подбитый на бегу, и грянулся на землю.

– Бейте, рубите! – кричали нападавшие.

Другой эвенский подросток, Уйбанчик, перемахнул через тын, но на той стороне завизжал, как заяц, ухваченный волком. Он попал прямо в руки тунгусского конника Кирьяка Желтоглазого. Степанчика мурчену поймали уже на окраине леса.

Напавшие одолевали. Еще двое – мужчина и женщина

¹⁹ Ругательство: «чортов человек»

– остались лежать на окровавленном снегу. Человек десять связали ремнями и веревками, выволокли на двор и бросили на землю, как охотничью добычу.

– Зажгите костер, – скомандовал старый Спиридон.

Молодой Спиридон с двоюродным братом Михеем развели на снегу из сушеных поленьев и бересты небольшой костер, который, однако, осветил весь двор приятным ровным светом.

– Что, не ждали, собаки? – сказал с торжеством Спиридон. – Забыли о хозяевах, а?.. Так мы вам напомним. Ну-ка, начинайте!

У пленных были связаны только ноги, но так крепко, что те могли лишь переваливаться по снегу, беспомощно хватаясь руками за мерзлые комья навоза.

– Дайте-ка им!

Михей, Спиридон и еще двое конных тунгусов схватывали пленника, поднимали его на ноги, потом привязывали за руки к конскому столбу, стоящему у заднего забора.

– Ну-ка, начнем!

Две нагайки слева и справа со свистом полосовали обнаженное тело. Во дворе были три коновязи, наказывали сразу троих, в две нагайки каждого. Избиваемые выли, корчились, рвались, им вторили цепные собаки, которые не хотели признать старых хозяев и были, видно, на стороне восставших батраков.

– Молчите, сволочи! – крикнул со злобой Спиридон и

хлестнул арапником молодого Пестряка и старого Утеля. Но собаки завывали громче прежнего. Избиение продолжалось довольно долго. Насытив свою злобу, Спиридон коротко распорядился:

– Стащите их в избу, да смотрите, сторожите, чтоб никто не убежал.

Он схватил за волосы молодую Степаниду, которая раньше была доильщицей при стаде и в хозяйскую юрту редко заходила. Впрочем, старый Спиридон, случалось, навещал ее поздно ночью в далекой скотной избе. Теперь и она оказалась в усадьбе, и Спиридон наказывал ее собственноручно, с особенным тщанием. Степанида была совсем голая, рубашка, изорванная крепкими ударами, свалилась с плеч, на спине и груди вспухли багровые полосы. Она была в сознании и тихонько выла, как подшибленная насмерть собака. Спиридон замотал себе на руку ее густые и жесткие черные косы и поволок ее к крыльцу, как телячью тушу или мешок с мукой. Растерзанная пазуха и кожаные шаровары несчастной скотницы были набиты комьями снега, то красного, то белого. Тело Степаниды ежилось не только от боли, но и от острого холода.

– Зябнешь? – сказал ядовито старый Спиридон. – Ничего, погодите, мы вас огреем.

Пленников стаскивали в горницу и клали на полу.

– Ты сторожи, – сказал Спиридон старому Кирьяку, тунгусу, – мы пойдем, кончим.

Выстрел разбудил пастухов, ночевавших по разным закоулкам обширной Спиридоновской усадьбы, но о защите не думал никто. Кто успел, выкатился в дверь, перемахнул через тын и опрометью кинулся в лес. Кто оплошал, того вязали, били чем попало и волокли в усадьбу.

– К стаду пойдёмте! – сказал Спиридон.

Победившие хозяева шумной толпой вышли из ворот, отвязали лошадей и поехали на нижний луг, где пасся конский косяк старика Спиридона.

Старый Кирьяк сидел на колоде у широкого стола и молча смотрел на связанных пленников. На столе было мясо, вино; он отрезал себе кусок пожирнее, налил в широкую чашку сероватого питья, выпил, крикнул, потом закусил холодным жиром, немного подумал и вылил самогон из бутылки в большой железный ковш. Поднес ковш к губам и стал тянуть медленно, мерно и не отрываясь. Ковш пустел, лицо Кирьяка темнело и словно наливалось этим мутным хлебовом. Последние капли... Кирьяк с размаху хлопнул ковшом о тяжёлый обеденный стол.

– Быйя! ²⁰ – окликнул его с пола Степанчик, эвен.

– Ага, – ответил Кирьяк, не поворачивая головы. Он держался прямо и твердо, но в лице его было что-то чужое, пустое, быть может, душа его улетела из пьяного тела и витала где-то в занебесных мирах, а тело сидело на колоде и глядело на пленных.

²⁰ Обращение; собственно – «человек».

– Быйя! – настаивал Степанчик. – Есть ли в тебе сердце эвенское?

– Ну есть, – ответил односложно Кирьяк.

– Мы тоже эвены, – настаивал Степанчик, – я да мой братик Уйбан.

Они лежали рядом, странно похожие и в то же время различные.

Кирьяк с видимым усилием повернул в их сторону свое квадратное лицо.

– Ага, двое вас, – сказал он по-эвенкийски.

– Ну да, двое, – настаивал Степанчик, – нас двое эвенов.

– Вы – эвены, я – эвенк, – возразил Кирьяк, – наши матери разные.

– Матери разные, – согласился Степанчик, – а прабабушка общая, Дантра. Ай, больно!

Он с трудом повернул свою избитую спину.

Эвены и эвенки, ламуты и тунгусы, были два родственных народа, которые жили одинаковой жизнью, ездили верхом на оленях, промышляли и лося, и белку и говорили на языках хотя и различных, но все же довольно схожих. Они происходили, по преданию, от пары медведей, старого Торгандры и сестры его Дантры. Торгандра женился на Дантре, и от их кровосмесительного брака родились эвены и эвенки. После того медвежья чета разделилась. Торгандра пошел на юго-запад, за ним пошли эвенки. Дантра побрела на северо-восток, и за нею пошли эвены. И оба племени все еще помнят

свое кровное родство.

– Хорошо ли помогать якутам против собственных братьев? Наши оленчики чистые, якут пахнет конским потом. Якут – как потник, тунгус – как попонка.

Якуты ездят на потных лошадях, тунгусы – на оленях, которые никогда не потеют. Оттого тунгусы дразнят якутов «потниками».

– Мы тоже «потники», – сурово возразил Кирьяк, – мы не оленщики, мы конники, мурчены, ездим по-господски, ноги в стремях, а кони в удилах.

Наступило тяжелое молчание. Уйбанчик вертелся на соломе, его руки были свободны. Руки у Степана были связаны. Уйбан повернулся к товарищу и стал зубами и руками развязывать узлы на его затекших кистях. Лицо Уйбанчика было разбито в кровь, и, вгрызаясь в веревки, он поминутно сплевывал в сторону красной слюною. Кирьяк глядел на эту странную работу, но сам не шевелился. Еще через минуту оба пленника могли встать на ноги, но Уйбанчик сумел только припасть на четвереньки и поползти, как избитая собака. Степанчик качнулся вперед и схватился руками за край стола, противоположный тому месту, где сидел Кирьяк.

– Отпусти нас, – сказал он срывающимся голосом. Остальные пленные лежали на полу без чувств. Они были, кроме того, крепко связаны по рукам и по ногам. Но двое эвенов сумели освободиться. Они были жестоко избиты и совсем не пригодны для драки, один из них даже на ногах не держался.

Но старый Кирьяк был жестоко пьян. Было неизвестно, смогли бы он встать со своей крепкой колоды. И так, один пьяный и двое избитых бойцов молча смотрели друг на друга и мерялись взглядами.

– Отпусти нас, тунгус, – еще раз сказал Степанчик. Кирьяк молчал.

– Не отпустишь, уйдем, – погрозился эвен слабо. Так мог бы заяц грозиться сторожившей его лайке. Кирьяк слегка пожал плечами.

– Мне что... идите! – сказал он равнодушно. – Хотите закусить на дорогу? – предложил он довольно дружелюбно. – Водку я выпил, а мясо – вот оно. Берите, не жалко.

Степанчик махнул рукой в знак отказа.

Оба эвенских мальчика, задыхаясь, шатаясь, поползли в глубину тайги, дающей защиту убегающему пленнику, двуногому или четвероногому.

Глава восьмая

Спиридон и его банда скакали по дороге, подгоняя косяк лошадей, захваченных в старой усадьбе. За ними пылало высокое зарево. Ночь была тихая, морозная, огонь вставал вертикальным столбом до самого неба, потом завивался метелкой. Крупные искры скакали из метелки и словно плясали лесной хоровод кругом неподвижных и бесстрастных звезд, холодно сверкавших на небе.

Первая пылавшая усадьба была зажжена не батраками, а хозяевами. Нападение Спиридоновой банды на его батраков было началом гражданской войны в этом диком округе огромной Якутии.

В соседних усадьбах, поголовно захваченных восставшей беднотой, начиналась тревога. Люди влезали на деревья на окраинах леса и старались получше разобрать, в какой стороне и какая усадьба горит. Подростки выезжали из ворот на неоседланных лошадях и мчались по дороге в сторону пожара.

Один из таких неудачных разведчиков наткнулся на банду Спиридона и угнанный ею табун. Но дальше не поехал и благоразумно вернулся назад. После того приезд и отъезд нападавших были определяемы с несравненной точностью: приехали тойоны, людей перебили и сожгли, лошадей отогнали, ускакали на восток...

С утра по восставшим усадьбам проехал вестовщик. Он держал на шесте клочок соломы, запачканный красной кровью. То была кровь молодого теленка, принесенного в жертву грозному богу Улу-Тойону. Но при желании можно было взять человеческой крови из разграбленной усадьбы Спиридона Кучука.

Окровавленная солома была знаком того, что началась кровавая война и надо готовиться к отпору.

Из разных усадеб и наслегов потянулись кучки верховых, по двое и по трое и порою по целому десятку, с ружьями, с копьями, с арканами, плетеными из волоса, даже порою с крепкими гнутыми луками, склеенными искусно из двух полос дерева и обклеенными гладкой берестой. В крепких руках тугий якутский лук мог при нужде соперничать с кремневым ружьем. Всадники вели в поводу лошадей, груженных запасами. Скоро собрались большие отряды, которые сливались все вместе и выросли в целую армию. Восставшая беднота, завладевшая усадьбами богатых и ныне потревоженная в своем мирном обладании скакала на восток добивать своих старых врагов и, если возможно, стереть их с лица земли.

Миновали обжитую часть безбрежной якутской тайги. Поселки становились все реже, через каждые десять верст, через каждые двадцать верст. Дальше шли отдельные заимки, ютившиеся к берегу огромных озер, часто не нанесенных на карту и совсем не известных коренным жителям центральной Якутии. Каждая заимка все же имела при себе рас-

чищенные топи для рыбной ловли и такие же расчищенные покосы на лесных и прибрежных лугах, поросших прекрасной травой.

Кончились обжитые места. Началась тайга, дикая, безлюдная, мало известная даже бродячим охотникам эвенкам и эвенкам. Она занимала многие десятки тысяч квадратных километров, но на обширном пространстве Сибири и Дальнего Востока неизвестная тайга была лишь ничтожным беловатым пятнышком.

Многолюдный отряд бедноты, несмотря на отсутствие дорог, шел по следам отступавших врагов. Конские следы, ночевки, привалы – все это были как твердые этапы, как знаки, нанесенные пунктиром на огромной натуральной географической карте.

Три дня прошло в этой настойчивой и почти бесконечной погоне. Отряд ополчения, минуя привалы убежавших, выбирал себе новые ночлеги, но устанавливал их по тому же неизменному правилу: костры, у костров ночевки, палатки из синей дабы, отгон лошадей на лесные луга, рано поутру новое движение вперед.

На третий день к вечеру следы отступающих тойонов стали обозначаться яснее, потом из них выросла тропа, свежепротопанная, совершенно явственная. Было вполне очевидно: отступившие отряды богачей стали обживать безлюдную тайгу, осваивать рыбные ловли и лесные луга, быть может, ненадолго, на время гражданской войны, а быть может,

надолго, навсегда. Оттого и обозначалась в заново обжитой тайге твердая тропа, проложенная новыми жителями.

Отряд бедноты заночевал у самой границы этого нового района, занятого беглыми врагами. Утром поехали вперед и сразу наткнулись на боевые заграждения враждебного отряда. То были засеки: тяжелые ряды вековых лиственниц и сосен, подсеченных под корень и упавших на землю валом рогатым, колючим и почти неприступным.

Нападавшие выслали разведчиков. Разведчики спешили, оставили в тылу лошадей и стали осторожно обходить лесную баррикаду, стараясь выйти ей в тыл или пробраться к поселкам врагов каким-нибудь другим путем.

Противники, однако, не дремали, они зорко следили за каждым движением наступающих, и в сторону разведчиков раздался залп, потом другой. Стреляли ружей в тридцать, а быть может, и побольше, но пули пролетали без особого вреда для нападавших, ударяясь о древесные стволы или зарываясь в землю.

Разведчики стали смыкать свои цепи и все глубже пробирались вперед от дерева к дереву. Нежданно застучал пулемет, сбивая своим свинцовым градом сосновые шишки с нижних ветвей вековых деревьев. Пулемет оказался действеннее ружейного обстрела. Двое разведчиков упали почти рядом: один с пробитой головой, другой с перебитой ногой. Наступавшие сразу бросились на землю и поползли, как лисицы, из опасной обстреливаемой зоны.

На Крайнем Севере гражданская война в общем велась лишь отчасти правильным боем, а скорее всего измором, осадой, увозом продовольствия, уничтожением всякой продовольственной базы на пути неприятеля. Оттого так быстро окончилась первая неудачная разведка красных партизан против белых богачей, засевших в таежном поселке.

Ночью, в темноте, двоюродный брат Прокопея, убитого в усадьбе Спиридона, по имени Прохор, решился на разведку Обоих двоюродных братьев звали Проньками. Один был Пронька-Прокоп, другой был Пронька-Прохор.

Пронька-Прохор забрался на вражескую территорию незаметно, ползком от дерева к дереву, и все-таки попал в тыл древесной баррикады и вошел в линию поселка богачей. Это был, в сущности, не столько поселок, сколько ряд укрепленных дворов, разбросанных в тайге, на большом расстоянии, однако подкреплявших друг друга как точки одной стратегической сети. Усадьба защищалась крепким частоколом, а в стенах и в дверях были прорублены узкие бойницы. На самых высоких деревьях, примыкавших к поселку, были устроены «залазы»²¹, где помещались дневные сторожа. Ночью с «залаза» в тайге все равно ничего не видно. Прохор обошел все расположение врагов и подсчитал их силы: двадцать укрепленных дворов, имевших в общем не менее пятисот защитников. Силы наступавших были гораздо значительнее – больше тысячи, но они были хуже вооружены.

²¹ Залазы – верхушка высокого дерева, частично освобожденная от ветвей.

Рано поутру под огромным раскидистым тополем собрался полевой совет отряда нападавших. Тут был Байбал (Павел) Сохнацкий – фельдфебель царской армии, которого раньше загнали из далекой Якутии на Польскую Бзур, на фронт. Он два года просидел на Бзуре в вонючих солдатских окопах и заработал два Георгия, по Георгию в год. В то же самое время он стал непримиримым революционером, большевиком, Байбал был человек холодный и крутой, при случае не щадил ничьей жизни, ни чужой, ни собственной. После распада царского фронта он быстро пробрался назад, сначала в Иркутск, потом в Якутск, а оттуда на эту глухую и дикую окраину. У него была небольшая лесная заимка, и он взялся было за хозяйство, но не мог усидеть на месте. В воздухе пахло порохом. Спокойная Якутия бродила хмелем кровавой ненависти к тойонам – многоскотным богачам, издавна угнетавшим закабаленную ими бедноту.

При первых признаках гражданской войны «Бай-бал Пельпепель», как звали его в округе, посадил на коней своих двух братьев и подростка-сына и сделал набег на соседнюю заимку богатого якутского тойона Иннокентия Березкина. Усадьба была взята приступом, двое Березкиных убиты, остальные бежали. Сохнацкие забрали скот, одежду и меха и честно отвезли их в революционный центр, который сложился с большой быстротой в многолюдном поселке Салгитар.

Среди партизан, наступавших на таежную крепость, Бай-

бал Пельпелбелъ был самым решительным и твердым вожаком, который стоял за быстрые, решительные действия. Он не был общим вождем, вождя у партизан не было.

Вместе с ним был Василий Огонер, малорослый старичок лет пятидесяти. Последние годы своей жизни он пробыв домашним рабом-прихлебателем у своего же двоюродного племянника Максима и в конце концов возмутился и поднял бунт. Василий Огонер был тоже человек решительный. Во время восстания он погнался пешком по таежной дороге за Максимом, своим собственным племянником, постыдно убежавшим из усадьбы.

Максим был человек довольно высокий и тучный, что у якутов встречается редко. Василий Огонер, несмотря на свою старость, был на редкость легок на ногу. Он гнал своего племянника Максима, неумоимо и немилосердно, с длинным копьём в руке. Он не хотел колоть его насмерть, но каждый раз чувствительно покалывал его сзади, порою до крови. Максим с воплем подскакивал и надавал вперед с такой быстротой, как будто копьё, прильнув на минутку к его телу, в виде деревянного хвоста, давало ему тут же незримые сильные крылья. Так они пробежали через лес, и тут в конце концов Максим свалился на дорогу, как гнилая колода. Старик не спеша подошел к нему, потрогал сначала древком копьё, потом носком ноги.

– Ты жив? – сказал он спокойно, даже без особенной злобы.

– Убей меня! – прошипел Максим, задыхаясь от усталости.

Слова его вышли изо рта клубом розовой пены. Он, должно быть, порвал на бегу мелкие сосуды легких и захлебывался собственной кровью и слюной.

– Ну, черт с тобой, лежи, – сказал старик. – Пададь такая. Так все будете лежать на дорогах.

Он отвернулся от упавшего хозяина и быстро пошел на восток, направляясь в Салгитар.

Двое других вожаков были совсем подростки, чуть не мальчишки, члены недавно возникшей группы комсомольцев. Один звался Петр, а другой – Федор, но оба эти имени производились одинаково: Педур. Одного из них звали просто Педур, другого, высокого, Педур с Прибавкой. Педур с Прибавкой был из богатого рода, его деда и отцы были наследственными князьками в Бугуюнтайском улусе. У дяди его были большие покосы, сотня лошадей, три сотни рогатого скота, даже мешок золотой и серебряной монеты, хранившейся в течение многих поколений. Все они были люди спокойные, степенные, лишних слов не говорили, а из каждого подвластного выжимали сок обстоятельно и степенно. Педур с Прибавкой был не похож на родню. Безбоязненный, буйный, в гневе не боялся никого. Как-то, повздоривши с дядей, бросил в него с размаху тонким ножом, так называемым «якутским». Нож попал дяде в плечо, вонзился довольно глубоко, да так и остался на весу, качаясь и дрожа. Старик выдернул

нож и хотел броситься на обидчика. Но Педур и след простыл. Он выскочил на улицу, отвязал от столба дядиного жеребца и умчался, не помня себя, по дороге, ведущей в тайгу.

Педур отличался необузданной щедростью. За две недели до этой кровавой стычки он отбил от дядиного косяка большого холощенного коня, который был в так называемом «белом жиру», и погнал его кругом небольшого озера в поселок Уулбут, где из года в год голодали четыре семьи беднейших якутских рыбаков. Жители поселка Уулбут годами не видели мяса, что для якута считается нищетой и позором. Педур решил подарить им коня и устроить праздник насыщения. Конь был во второй степени жира. У якутов считаются три степени ожирения скота: первое – «красный жир», второе – «белый жир» и третье – «полный жир». Конское мясо считается лучше коровьего и ценится дороже.

Уулбутские рыбаки коня, разумеется, тотчас зарезали, освежевали, потом собрались все вместе, с женами и грудными младенцами, и стали поедать драгоценную пищу.

Откуда-то на запах подошли придорожные эвенки, бродившие по округу, группа русских уголовных поселенцев, бессильных стариков, которые, даже получивши амнистию, остались на месте. Они не знали, куда ехать и зачем ехать. Больные пришли из больницы, несколько бывших солдат, по виду дезертиров, еще беспризорные старухи вместе с малымями сиротами. Все они, усевшись на землю, стали расправляться с кониной, вареной и жареной, и дня через три от

жирного коня остались лишь кости, и то все костяные трубки были разбиты, чтобы извлечь из них костный мозг.

Именно из-за этого странного поступка Педур с Прибавкой поссорился со своим солидным дядей.

Другой Педур был безродный сирота, подкидыш из воспитательного дома в городе Якутске. Он был, должно быть, русского происхождения. У него были светлые волосы, как будто льняная кудель, и голубые глаза. Но его отдали с раннего детства, еще с соской во рту, в дальний улус, на прокормление старухе Чубучихе, которая устроила в Якутске местную фабрику ангелов и за самую скромную плату охотно переводила маленьких детей.

Но Педур выжил, попрос в глухом таежном углу. Он вырос якутом среди якутов, не знал ни слова ни на каком другом языке, все его привычки и способы работы были подлинные якутские. Потом он, однако, пристал к ссыльному черкесу, который уже двадцать лет промышлял плотничьим ремеслом. Круглый год они бродили от поселка к поселку, поправляя истлевшие и обветшалые юрты и срубы домов.

Педуру было только семнадцать лет. Он владел топором с редким искусством. Метнет свой плотничий топор на порядочное расстояние в пень, в доску – и всегда попадет. Наметит в вышине раскидистого дерева толстую ветку, бросит – и подрубит одним ударом. Он пробовал охотиться даже за проворными белками, вместо ружья, со своим летучим топором. Походит день по тайге и к вечеру принесет десятка два

белок. Но беличьи туши были, разумеется, совсем изуродованы: которая без головы, которая разрублена как раз пополам, которая без ноги. Из-за этого редкого искусства его боялись сверстники и даже мужики постарше.

С Педуром с Прибавкой он имел общую черту: он не мог видеть голода и той ужасающей бедности, от которой страдают якутские рабы и иждивенцы, и в том же самом месяце, когда Педур с Прибавкой пригнал на Уулбут жирного коня своего дяди, Педур, в свою очередь, подрубил у богатого соседа Бережнова амбар с мороженой рыбой. Рыбу сложил на нарту, а нарту отволоч в ближайший поселок Крестьях, где вся беднота тоже жестоко голодала. С минуту постоял на улице, потом поехал от юрты к юрте, наделяя тяжелыми жирными чирами голодных жителей. Окончив раздачу, он уехал домой с пустой нарткой. Последних три чира он привез своему хозяину, плотнику Учахову, который тоже не считался богатым.

Когда забродила революция, оба Педура собрали в поселке Салгитар многолюдную группу мальчишек с топорами, с ножами, даже с ружьями и стали ходить из поселка в поселок, водворяя справедливость. Они называли себя «молодыми коммунистами». Их коммунизм был потребительского свойства. Они отнимали у богачей лучшую пищу, устраивали на площади пир горой, съедали быка, сотню мороженой рыб, две вязки юколы²², остальное раздавали бедноте и

²² Юкола – вяленая рыба.

шли дальше.

Этот потребительский коммунизм взбудоражил всю округу.

Группа молодежи была, в сущности, первым отрядом партизан в этом отдаленном краю. Но они не принимали никого старше двадцати лет, выписали из Якутска комсомольский устав, написанный, правда, по-русски, и с грехом пополам перевели его по-якутски, вызубрили наизусть и каждую неделю устраивали проверку своих знаний. Бывало порою, что очередное нападение на какой-нибудь жирный поселок, пир на площади и экзамен политграмоты совпадали во времени. Но молодые партизаны ничуть не стеснялись, сначала устраивали проверку, а потом длинные и четкие формулы заедали жирной кониной и запивали двухлетним кумысом большой силы и крепости.

Вместе с обоими Педурами была девица, немного постарше, высокая, видная собой. Ее звали «мужик-баба». Она легко поднимала на плечи трехпудовую суму, набитую мясом, тугую и гладкую, как скользкая рыба, и несла ее по тяжелой таежной дороге десять километров так легко и непринужденно, как будто это была небольшая дорожная сумка.

Среди молодых партизан были и другие женщины и девушки. Но Авдотья – «мужик-баба» – выдвинулась вперед как самая сильная и самая решительная. Мужчины даже среди бедняков косились на женщину. Но этот зародыш женского движения возник так же неудержимо, как бунт молодежи,

и тоже стал заметным элементом в начинавшейся гражданской войне.

Глава девятая

Пятерка вождей сидела под тополем и судила и рядила о том, как справиться с злыми богачами, засевшими в усадьбе за крепким частоколом.

Мальчишки предложили:

– Голодом возьмем. Отгоним стада, запасов у них мало, подтянут животы, выедут, поклонятся.

Огонер предложил:

– Жаждой возьмем. Поставим у речки засаду с ружьями, не пустим к воде. Можно ли жить без воды? Выедут, поклонятся.

Пельпобель сказал:

– Не выйдет ни жаждой, ни голодом. Кровью возьмем. Берите топоры и ружья, трубите сбор, навалимся лавой и сзади и спереди, пузом задавим. Горло зубами перервем. Глаза дубиной вышибем.

Авдотья говорила последняя. Авдотья сказала:

– Не выйдет ни голодом, ни жаждой, ни кровью. Возьмем их огнем.

Все сразу согласились. Огонь был издавна злым врагом в дремучей тайге, наполненной стоячим сушняком, сухостоем, который вспыхивал порой, как порох, и сам загорался без всякой видимой причины, как будто от внутреннего жара.

Несколько десятков партизан вышли с топорами и ножа-

ми и стали обходить неприятельскую крепость с наветренной стороны. Они скоро нашли пласт сухостоя, четыре километра вдоль и поперек. Этот лес был не особенно давно опален лесным пожаром, но до конца не сгорел, а только обгорел. Он торчал к небесам крепкими и черными стволами, как будто огромной черной щетиной.

Этот участок сушняка был намечен как отправная точка лесного пожара.

Партизаны набирали груды сухих ветвей и складывали их в самых густых местах, где древесные стволы почти соприкасались друг с другом. Ребята тащили бересту, набранную рядом в молодом березняке, который своей свежестью и белизной представляя поразительный контраст с обгорелым сухостоем.

– Палите!

В десяти местах сразу сверкнули искры, высеченные сталью из огнистого кремня, заалелась береста, вспыхнули сухие листья, тонкие стружки сосны, специально настроганные, смолистые комья лиственничной слезы, выбегавшей из трещин коры пахучими и вязкими подтеками. Змейки огня сверкнули, заструились, как живые. Лес словно ожил, сучья затрещали, огонь пополз по земле и стал взбираться на вершины наиболее ветвистых, раскидистых деревьев.

Окончив работу, партизаны ушли в свой лагерь. Но пожар не ушел. Он встал высокой стеною, завихрился в вышине огненными метлами и двинулся вперед, на приступ к усадьбе

богачей. Ветер тянул ровно, как бы подгоняя это огненное войско и стараясь бросить его на враждебную крепость. Таежный ветер был настоящим вождем этого непримиримого огненного наступления. Небо затянулось дымом, кругом навис серый горячий туман, сверху на дорогу, на зеленые деревья сыпался пепел, летели крошечные угольки, как будто светящиеся мухи, и временами падали более крупные головешки, неведомо как поднимаемые вверх восходившей струей огня.

Теперь осажденные были в своей, огороженной деревом крепости, как крысы в норе. На них падали горячие уголья, у них загоралась сухая кора на кровлях домов и амбаров, порой головешка попадала прямо на человеческую голову, и волосы дымились и тлели на живой голове, как будто на высохшей кочке.

– Нет, не удержимся, – мрачно сказал Чемпан.

Он был в парадном мундире с медалями, опоясанный широким чеканным серебряным поясом, в руке у него вместо оружия была булава старого казачьего полка, которую некогда принес в Якутию отряд казаков-завоевателей. Булава досталась прадеду Чемпана за те же «прекрасные услуги» – измену соплеменникам, о которой говорила казенная надпись на дарованном штуцере.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.